Валерий Казаков

ХОЛОПЫ

АСТ • Астрель
Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
К14

Оформление обложки
дизайн-студии «Дикобраз»

Казаков, В.

К14 Холопы. Роман-дурь / Валерий Казаков. — М.: АСТ; Астрель, 2009. — 320 с.

ISBN 978-5-17-060972-7 (АСТ)
ISBN 978-5-271-24657-9 (Астрель)

В Сибруссии, одном из трех оставшихся в мире государств, правит Президент-Император, Преемник Шестой. В этом государстве нравы царят узнаваемые, порядки — крепостнические: прошло уже немало лет с тех пор, как народ прикрепили к земле. В лесах свирепствуют лихие люди, в городах — не менее лихие чиновники...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Подписано в печать 05.06.09. Формат 84×108/32.
Усл. печ. л. 16,8. Тираж Заказ

Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.009937.09.08 от 15.09.08 г.

ISBN 978-5-17-060972-7 (АСТ)
ISBN 978-5-271-24657-9 (Астрель)

1.

Далеко за селом надрывно выла собака, будто чья-то грешная душа просилась на небо.

— Вот чертово отродье! Как зачует полнолуние, тут и начинает бесовский концерт. Теперь ночи три будет голосить, пока эта бледная поганка на ущерб не покатится. — Прохор небрежно махнул рукой на матовый шар июльской луны, налитый какой-то нездешней, молодой и дурашливой силой. — Главное что? Как этот мячик в прибытке или убытке — молчит зараза. Да и не должно там быть собаки, никак не должно! Уж давно все посъезжали. Дома на дрова продали. Две-три избенки, правда, без окон-дверей стоят, крыши пообвалились, позарастало все. Далей, к лесу, — старый скотник. Где собаке взяться, ума не приложу! Местные мужики уж и так и сяк изловчались ее, поганую, отловить! Почитай, третий год житья в полнолуние не дает. И цепью ходили, и хитростями разными, и засады устраивали — все без толку. Только к халупам подберутся — вой-то и зачахнет. Натягаются по росной траве, вымокнут, а то и портки о загогулину поде-

рут, идут по домам, матерятся. Тишина. Только мат-от и слыхать, а до села дойдут — она опять за свое. Да все в том же месте. Ну, они в обратную, с дрекольем. А вой, значит, к лесу, к ферме перекатится. Не чертовщина скажете?

— Откуда мне знать, я жилец новый, только сегодня вот и услышал. Не обрати ты моего внимания, вообще бы мимо ушей пропустил. Давайте-ка, Прохор Филипыч, на стол собирать, закусим помалу, не глядя на поздний час да увещевания докторов. У меня в желудке такой вой и урчание, что, того и гляди, все окрестные псы, или кто они там, посбегаются.

— Да все давно готово, барин! Вы пока умыться изволите, я мигом сообразую.

— Спасибо, голубчик. — Енох Минович не без труда извлек заметно тучнеющее тело из плетеного, ропотно заскрипевшего кресла. «Раздавлю когда-нибудь!» — подумал, вздыхая, Енох и, тяжеловато ступая по некогда крашеному полу просторной веранды, ушел в дом.

— Да не раздавишь, — словно угадав мысли нового постояльца, проворчал себе под нос Прохор. — Не ты, чай, первый на нем сидишь, не тебе и последствовать. Стулу этому годов тридцать. Эт я при службе уж двадцатый год, а она, плетенка, при дядюшке, царство ему небесное, стояла... — И, отдаваясь целиком хлопотливому делу сервировки стола, Прохор, как водомер, засновал на своих длинных, сухих и кривоватых ногах.

Всякий занимающийся неспешной механической работой знает, что при полной занятости рук

голова остается абсолютно свободной и открытой для высокого полета разнообразных мыслей. Прохор любил творящийся в нем мыслительный процесс, без нужды стараясь в него и не вмешиваться. В своем внутреннем мире он был совсем другим Прохором, там он жил своей старой жизнью, которую еще помнил и любил. Казалось, сколько и прошло с 1991 года, а гляди как все поменялось! Хоть и был он в том далеке семилетним мальчуганом, а ныне уже, почитай, старец, шутка ли — скоро семьдесят девять, но память все удерживает, словно вчера все было. И Юмцина, которого нынче и вспоминать перестали, и сменившего его Отина. Того теперь более помнят как Преемника Первого Великого. Сейчас трудно вспомнить, на переломе века его в Преемники избрали или он уже тогда сам себя назначил? Три, не то четыре срока царствовал, при нем институт преемничества стал конституционным, а Российская Федерация, после войны с объединенной армией белоукров, которой успешно руководил евроясновельможный князь Арло Второй, была преобразована в Великую Демократическую Империю. Правда, границы имперские съежились, как шагреневая кожа. С запада межа проходила километрах в сорока от Одинцова, с юга — недалеко от Орла, на севере, выгибаясь дугой по Волге, ползла через Ильмень и Пермь за Большой камень. После чего надувалась в огромный пузырь, охватывающий почти всю Западную и Центральную Сибирь, так что восточное пограничье сложно змеилось западнее бывшего Красноярска, переименованного китайцами в Дзин-дза-мин. Столько

всего с тех пор поменялось, Господи святы! Только титул главного управителя, Президент-Император, остался неизменным, и имя его во все времена звучало одинаково — Преемник. Цифры, конечно, менялись, сегодня, к примеру, властвовал Преемник Шестой Мудрый. Да кто их там, наверху, разберет, они что ни сделают, у них все по конституции и по закону получается. Хотя, по правде сказать, законы эти мало кто сегодня сумеет прочесть. Во всех магазинах, питейных заведениях и пунктах питания специальные полки оборудованы для этих толстенных книжек, напечатаных на новом государственном языке. Говорят, у русского дворянства в девятнадцатом веке было весьма модно по-французски парлекать, везло же людям! Ах, шарман, шарман! Чего тут сложного? А ныне без компьютерного русификатора хрен чего разберешь. Зато прогресс! Новым государственным языком граждан Империи должен в ближайшие пять лет стать гибрид, вобравший в себя лучшие лексемы китайского, азербайджанского и разговорного американского. Русским, по замыслам его создателей, должны остаться произношение, ненормативная лексика и жесты. Язык придумали, законы на нем напечатали, делопроизводство запустили, а народ все тащится, не поспевает! Но Президент-Император на то и вождь нации, у него все продумано! Дабы граждане Сибруссии шустрее новую родную речь учили, был принят державный меморандум: все бумаги, подаваемые в официальные учреждения, должны быть написаны на государственном языке. Крути не крути — учить придется.

— Ты смотри, Прохор, все еще воет!

— Так я же вам говорил, барин, теперь дня на три. Садитесь к столу, ваше высокопревосходительство, а то вкусности остынут.

Енох Минович еще не был высокопревосходительством. Именно за этим «выс*о*ко-» он сюда, в Богом забытую глушь и притащился. А что прикажете делать, всю жизнь в дойных миллионерах проходить? Нет уж, дудки! Это раньше можно было на сэкономленные от народа деньги под видом приобретения спортивного клуба скупить пол чужой столицы. Ныне времена другие, деньги мало взять, их надо еще и отслужить. Не отслужишь — враз всего лишишься. В лучшем случае успеешь смыться в Лондон, некогда столицу Англии, а сегодня — заштатный городишко мощной Объевры.

Не углубляясь в душевные дебри, Енох кряду опрокинул три пятидесятиграммовика охлажденной анисовой водки, одобрительно крякнул и принялся за нехитрый деревенский ужин. Подходила к концу третья неделя его пребывания в Чулымском уезде, который должен был на полтора года стать для новоиспеченного государственного мужа новым домом, а может, и будущей вотчиной. «А что, вполне прилично звучит: граф Енох Чулымский, — с аппетитом хрустнул гурьевской капусткой чиновник. — Хороша капуста, да и пельмешки отменные!»

— Послушай, Прохор, а пельмени эти кто лепит?

— Да сам и леплю, когда летом. Ну а в зиму-то уж всем миром варганим. Как морозы возьмутся,

так бабы да девчата садятся мясо крошить, тесто месить, а лепить им и мужики помогают, особливо молодые парни. Те лепят, да на молодух глазят, каку, значит, она пельмень выкручивает: по приметам, чем та пельмень мене, тем у девки «родилка» щитнее. А девки про ту примету знают, вот и куражатся: то с медвежье ухо пельмешку изваяют, то с соловьиный глаз. Веселое занятие, барин! Ваш-то предшественник и сам, бывало, любил попельменничать с молодухами, прости его Господи!

— Ты мне, Прохор, кальян расчади, таз с горячей водой неси и садись подле, расскажи, что с этим бедолагой приключилось? А то мне в Москве туману напустили.

Пока Прохор молча выполнял его поручения, Енох Минович поудобнее устроился все в том же плетеном кресле, погарцевав на сиденьи мясистыми ягодицами, снял высокие носки, связанные из грубой деревенской пряжи, которые Прохор всучил ему в первый же вечер вместо привычных тапочек, опустил ноги на прохладные доски, расстегнул подбитый алым китайским шелком и расшитый хакасскими узорами полухалат, с хрустом потянулся и вдохнул полной грудью тягучий, настоенный на разнотравье и хвое дурманящий воздух теплой июльской ночи.

Еще в Москве, готовясь к поездке в провинцию, он прилег на прослушивание дисков с произведениями некогда известных, а ныне забытых и для широкой публики малознакомых авторов, которые описывали жизнь и быт русских помещиков в во-

семнадцатом и девятнадцатом веках. Книги нынче мало кто читал, да чтение особо и не поощрялось правительством, все, что необходимо, было записано на маленькие CD-диски, твое дело было только вставить нужный в мини-плеер и нажать на кнопку. Многие школьники, получив среднее образование, толком читать и не научились, да что школьники: и дипломированные специалисты из престижных вузов едва могли прочесть надписи на рекламных плакатах. Из этих прослушиваний Енох знал, что русский барин некогда пил анисовую водку, курил кальян, перед сном парил ноги в серебряном тазу, лакея временами именовал «братец», по субботам ходил в баньку с крепостной девкой, а еще имел свой выезд и псарню. Став обладателем имения (а он на это очень рассчитывал), по старой моде следовало разбить сад, вступить в масонскую ложу и мечтать об освобождении только что купленных крестьян.

Прохор принес тяжелый серебряный таз, больше похожий на крестильную купель, такой же большой медный кувшин с по-восточному изогнутым носиком, вылил в таз горячую воду, попробовал ее локтем, дабы барину не ошпариться, и пододвинул рукотворное озерцо к креслу.

— Вы, Енох Минович, неспешно ноги-то опускайте, пущай сперва попривыкнут, а уж потом жарком напитаются. Это вы правильно с ногами-то, это по-нашенскому, говорят, так и в старину было: и при барах, и при комиссарах, и при разноволновых демократах. Нет, что ни говори, хорошо, что все на круги своя возвращается! — И как бы спо-

хватившись, всплеснул руками: — А кальян-то! Сейчас, батюшка барин, принесу!

Еноху приятно было слушать причитания пожилого лакея, с первых дней окружившего его неподдельной заботой и вниманием. Такая полная самоотдача и невесть откуда воскресшая тяга служить хозяину всегда вызывают умиление и гордость за свой народ, в котором, что бы с ним ни случалось, исконно живет стремление угождать и подчиняться. Конечно, таких, как Прохор, маловато. Но ведь всего немногим больше полувека минуло после освобождения России от Советского Союза. Откуда им взяться, новым-то людям, когда старые еще не перемерли. Сколько было криков и шума, когда опубликовали указ о разделении нации на сословия! Все бросились в господа! Броситься-то бросились, а что толку? Господином, оказывается, мало назваться, им надо стать, а как, когда ни кола, ни двора? Ну пришел ты в мэрию с родословной с княжескими гербами — и что? Извини, брат, господа нынче другие требуются: главное — имущественный ценз и заслуги перед августейшими. Недвижимость или капитал — вот начало дороги к дворянскому достоинству. Так, кстати, во все времена и было.

Предки Еноха сколотили состояние на приватизации «Норильского никеля». Старая история. Сегодня любому известно, что за каждым крупным состоянием стоит если не преступление, то по крайней мере противоправное действие. Не минула чаша сия и их семейства. Преступление было, это Енох знал, но какое, — так у деда выведать и не

смог. В детстве ему хотелось, чтобы семейное злодейство было не хуже, чем у других: с кровью, смертоубийствами, погонями и прочими страстями. Позже, учась за границей, он слышал, что во время приватизации гордости сталинской индустрии за Полярным кругом множество людей остались без куска хлеба, забомжевали, поспивались, а два северных аборигенных народа, шмуросане и короткане, про которых и новые собственники, и власти просто позабыли, все до единого вымерли с голоду. Но эти обстоятельства Енох на счет своей родни записывать не спешил. Какая тут романтика? Да и к фамильному гербу ничего с того мора не прибавишь. А герб у его рода, надо сказать, был не из крутых. Средней руки дворянский гербишка с кирпичной не то заводской трубой, не то тощей крепостной башней, бледно-розовым плюмажем и тремя рыбками, похожими на хамсу. Обидно, чего уж! Род-то именитый, богатейший. Дед вон сдуру пол-Боливии скупил! На кой та Боливия сегодня сдалась! Хорошо, в былые времена на предвыборные дела Юнцина, а потом уж и преемников немереные деньги отваливали. Не безвозмездно, естественно. Те, конечно, после имуществом и землями из державной казны потихоньку рассчитывались, так что когда грянуло крепостное право, и землицы и крестьян у Енохова рода было с избытком. Всего полно, а статуса ноль, как у бедных евреев в черте оседлости, хорошо хоть отец умудрился у Третьего Преемника не акции за помощь в финансировании избирательно-передаточной кампании попросить, а какую-никакую госнаградку. Преемник на радос-

тях выкатил предку большую госмедаль «За жертвенность в быту» второй степени, а причитающиеся бате акции, как потом говорили, любовнице передал, двоюродной Еноховой тетке, — все равно фамилия в прикупе осталась.

Дедова поговорка, ставшая родовым девизом: «Нам награды не нужны, за деньги работаем!», чуть было не сыграла с семьей злую шутку. При Преемнике Четвертом Освободителе было введено сословное деление общества, и всяк мог приписать себя к любому сословию, ежели, конечно, соответствовал довольно-таки жестким требованиям. Вот уж где народ заметался! Енохов род тоже. По всем канонам их фамилия даже на именное дворянство не тянула. В купцы первой гильдии свободно проходили, в именитые мещане — пожалуйте, в почетные заводчики — нет вопросов, а вот в заповедный чертог Высшего Света — рылом не вышли! Обидно! Столько для страны, то бишь Преемников, сделали! Кого только не подключали, все без толку! Деньги берут, помощь обещают, а потом при встрече застенчиво глаза в сторону отводят. Можно было пойти другим, тоже прописанным в Указе путем: купить любое достоинство, включая титулы. Но это же форменный позор, и опять-таки — дворянство при этом дают именное, без права наследования. Отец прикупил, а потом сыну еще раз отцовское достоинство выкупай? На совете решили: никогда! Лучше уж уехать в Белоукрию и за весьма умеренные зайгривцы купить потомственное шляхетство. А можно еще проще — в одной из Балтийских зон, терпящих демографическое и другие бед-

ствия, переспать с баронессой, благо их там на каждом перекрестке пруд пруди. Главное — во время сакрального акта не говорить по-русски, а затем рассчитаться еврами и получить в магистрате гербовые бумаги о своем баронстве. Ничего этого отец делать не хотел, а престарелый дед грозил проклятием всякому, кто посмеет из семейной сокровищницы хотя бы ломаный доллар взять на пустопорожние затеи. Тут-то про отцовскую медаль и вспомнили! И кто вспомнил? Он, Енох! Готовясь к какому-то экзамену, он внимательно прослушал Указ о правилах возведения в дворянское достоинство и ахнул. Вот растяпы! Отец со своей второй степенью высокой государственной награды имел полное право на потомственное дворянство. Выяснилось, что отцовские советники и адвокаты все это прекрасно знали, но предпочитали до поры до времени молчать, вытягивая дополнительные гонорары.

Глубокие раздумья или упоительную дрему барина нарушил слуга, вернувшийся с источающим аромат кальяном. Прижился в новой цивилизации этот благоуханный кувшин опиокурилен развратного Востока, сквозь дремоту подумал Енох.

— Поберегитесь, господин наместник, кипяточку подолью, а то, чай, водица остыла.

Енох вытащил из купели ноги и в который раз подивился, до чего же мудр и велик народ. Полвека не прошло, а былые привычки и навыки к услужению уже восстанавливаются, и что самое главное — язык, исконный, великий язык воскресает. Столичные штучки изобрели какую-то тарабар-

щину и назвали его новым госязыком. Спору нет, народ его со временем одолеет, но говорить меж собой на нем не будет, к исконному вернется и на том будет стоять. Сам он сибруссинский язык знал неплохо, в свое время даже стихи на нем одной объеврочке писал. Но стихи — одно дело, а вот бумаготворчество и крючкотворство посложнее будет.

— О, черт, горячо! — вскрикнул Енох, дрыгая ногами. — Может, хватит, Прохор?

— Так извольте, вот полотенце. А водица не так уже и крута, — макая в таз локоть, промолвил, оправдываясь, человек, — просто, пока я воду подливал, кожа у вас поостыла, а вы быстро ноги в подогретость и окунули.

— Хорошо, братец, не ворчи. Отставь полотенце, видно, ты прав, привыкли ноги, вот уж и не горячо. Давай сюда кальян.

Вообще-то Енох не курил. За всю свою жизнь, в каких бы передрягах ему ни доводилось бывать, он не закурил ни разу, чем несказанно гордился, а вот против моды на кальян устоять не сумел. Да и как здесь устоишь, когда во всех салонах, во всех VIP-клубах, даже во многих властных заведениях — везде кальян. Вон последний Преемник прямо перед телекамерами к кальяну подсаживается. Даже назначение Еноха оком Преемника в этой дыре без кальяна не обошлось. Шестой визирь, ведавший при Верховной канцелярии кадровыми вопросами, был заядлый анашист и взяточник, взятки брал дорогими кальянами и лучшие передаривал первому лицу государства, за что на своем

месте и сидел вот уже который год. Енох же Минович запретных зелий не курил, а так, баловался ароматами, набирая вкусный дым в рот и выпуская его через ноздри. Отложив мундштук в сторону, он с приятным удивлением обнаружил на резном журнальном столике со стеклянной столешницей кружку зеленого чая и серебряные вазочки с конфетами и сдобным печеньем.

— А что, Прохор, мой предшественник тоже ноги перед сном парил и кальяном баловался?

— Да полноть вам, барин, — убирая курильню и пододвигая столик с кушаньями, воскликнул слуга, — какой там! И не упомню, мыл он их вообще али нет. Разве раз в неделю в бане, да и баню не каждую неделю мы ему топили. Диким был. Иной раз среди ночи вскочит, хвать автомат и давай палить в окно, что на реку выходит. «Меня, — кричит, — за здорово живешь не возьмешь!» — и гранатой. Я, барин, страху натерпелся! Да и не я один, мужики наши тоже. А они не робкого десятка. Многие на Кавказских войнах, как и этот бедолага, воевали. Хорошо хоть с ним ординарца путевого прислали, он патроны взаправдашние попрятал, а оружие шумихами снарядил, ну и из гранат сердцевину повытаскивал, так что без крови обходилось. А так-то службу справлял — весь удел его боялся! Ежели что, на расправу был скор, судов и конвоев не дожидался. Сам и осудит, сам и к высшей демократической мере приведет. Этот его ординарец, бывало, позовет меня подсобить, преступника закопать, а чаще за бутылку родне сбагрит, да и дело с концом.

— Наслышан я, свинство полное! Но ты мне про его исчезновение поведай. Вот где туман-то, а гранаты да самосуды — это все глупости.

— Боязно, барин, может, к ночи-то и не стоит? Больно мутная история приключилась. Вы уж помилосердствуйте, Енох Минович!

Енох сперва хотел настоять на своем, но что-то неясное словно толкнуло его внутри, и он не стал настаивать. Время действительно было позднее, а с утра ему тащиться в губернский город, с первым докладом, к начальству.

2.

Маша не могла заснуть. Неестественно огромная луна бессовестно смотрела в окно, мешала. Сначала никак не давала сосредоточиться на интереснейшей книге, первый том которой она с упоением проглотила в городе и, обливаясь слезами, взялась за второй в самолете, на пути сюда, к тетке. Потом загнала за старую, в допотопных цветах раздвижную ширму, потому что стоило Машеньке стянуть с себя легонькое платьице, как ее тут же охватил странный трепет. Ей чудилось, будто она не одна и кто-то внимательно ее разглядывает. Нацепив на себя за ширмой ночнушку, Маша распахнула большое двухстворчатое окно. Вместе с незнакомыми звуками и ароматами в комнату легким, неслышным дуновением впорхнула ночь.

Что мы, смертные, знаем об этой таинственной страннице, такой же переменчивой и капризной,

как и всякое женское существо? О ночь, ночь! Какая великая тайна кроется в твоих темных покрывалах, почему во все времена, одолев страх, человек растворялся в тебе, ища любви, понимания и покоя? Может потому, что мы — дети ночи? Вынырнули на мгновение из непробудной мглы, порезвились в жестких лучах дневного светила, поблистали умом, неуемным темпераментом, побряцали дурью и навсегда сгинули, растворились во всепоглощающем мраке...

За окном лежала ночная земля. Спокойная и таинственная, какой ее и создал Бог сугубо для своих надобностей, не подозревая, что одно из его неудачных творений, человек, бросит все свои силы на уничтожение этой нерукотворной красоты. Большой барский дом, перестроенный из прежде пустовавшего двухэтажного правления совхоза, горделиво стоял на высоком, поросшем сосной и кедром холме. Еще в старые времена часть хвойного леса выкорчевали и разбили вокруг кирпичных строений неплохой для здешних мест сад. Теперь сад уж изрядно одряхлел, зарос кустарником и стал настоящим раем для несметного количества всевозможной порхающей, чирикающей и заливающейся на разные голоса живности. Местная помещица, Полина Захаровна, крепкая, высушенная годами и работой женщина, в свои шестьдесят три выйти замуж так и не сподобилась. В глубокой юности, правда, был у нее кавалер из местных, была настоящая любовь, были соловьиные ночи, заполненные до краев счастьем, бабьи слезы, проводы на войну, а потом — казенная бумага, сухо сооб-

щавшая, что такой-то пропал без вести. Потом были чернота и злоба людская, убившая ее неродившегося ребенка. Как отлежалась да ожила, одному Богу ведомо. Мать, покойница, выходила. Хотя и самой тогда тяжко пришлось: еще при втором сроке Первого Преемника, которого потом нарекли Великим и которому памятников-храмов понастроили, началась муниципальная реформа. Пока мужики вечерами, поддав, чесали репу и пьяно разглагольствовали о пользе и вреде муниципалитетов, мать, оставив десятилетнюю дочку на соседей, подалась в город да разузнала, что к чему. Собрала документы и вернулась в село с бумагой, уполномачивавшей ее провести сельский сход и образовать муниципальное поселение. Два века стояло село, а должно было превратиться в муниципальное поселение. На шумном пьяном сходе (мать и подпаивала, вместе с соседкой Евдокимихой две ночи самогон гнали) Полинину родительницу единогласно избрали руководителем муниципалитета. Ну а там понеслось: землю в собственность стали передавать, у матери в районе связи, а в селе — актив из одиноких непьющих баб, так тихой сапой и стала она полноправной хозяйкой окрестных мест. Ферму новую построила, молокозаводик, колбасный цех, техникой обзавелась, мраморных бычков из Японии выписала, и их дефицитное и диковинное мясо пошло к столу удельных и губернских начальников. Ну а где желудок задействован, там успех обеспечен.

Полина Захаровна мать любила и уважала, бывало, без материнского совета ни шагу не сделает и,

когда умерла родительница, горевала крепко, думала, не сдюжит хозяйские заботы. Но, видать, порода сказалась: закусила узду и поперла. Хозяйство в передовые вывела, людей обустроила, школу открыла, поставила новую церковь, завела теплицы. Орден даже удосужилась из рук Третьего Преемника получить, так что, когда встал вопрос о сословиях, Полину Захаровну Званскую без всяких препирательств возвели в потомственное дворянство и закрепили соответсвующей крепостью за ней земли с крестьянами. Деревенские особенно и не сопротивлялись, им при Полине жилось куда лучше, чем в былые времена. Все бы хорошо, но годы поджимают, а добро и хозяйство передать некому. Хотела было взять кого-нибудь из детского приюта, да побоялась чужой крови. Чужая и есть чужая, твоего беречь и приумножать не станет. Вот и вспомнилось, что у матери была младшая родная сестра, давно, еще до Полиного рождения съехавшая в город, да где-то там и затерявшаяся. Разные сплетни ходили по деревне, дескать, распутничала она там с городскими, с ворьем связалась. Тетку Полина не нашла, а вот сестру двоюродную отыскала: Ирина пошла по материнским стопам, сорняком болталась по поездам да вокзалам. А вот дочурка у нее чудесная оказалась. Замурзаная вся, а светилась, ровно ангелочек. Одним словом, сторговались они с сестрицей, та взяла деньги, всплакнула, отдала дочку — и сгинула в толпе. Только напоследок не сдержалась, уколола: «Бабки закончатся, я тебе еще парочку от чурок рожу. Не переживай, что сама не можешь!»

Маша дышала полной грудью. В саду и за новой барской оградой, на залитых сказочным светом окрестных полях, перелесках, и в переливающемся серебряной чешуей полноводном Чулыме, и в наполненных тревогой тенях — всюду буйствовала тихая, неприметная, незнакомая и все-таки такая родная и привычная жизнь. Девушка ощущала, что и тело ее и душа — лишь малая частица чего-то громадного, сильного, неподвластного ее несовершенному разуму. Как мечтала она о такой ночи там, за границей! Там тоже была луна, были красивые, словно запечатленные на глянцевой фотографии, горы, на аккуратных лужайках паслись какие-то идеальные коровы, а добропорядочные мамы водили за руку кукольно одетых детей.

Первые девять лет, расставшись с матерью, Маша жила в деревне, окруженная всеми мыслимыми и немыслимыми заботами тосковавшей по материнству тетки. Она уже слабо помнила свою прежнюю жизнь, даже не могла представить себе комнату, в которой они жили с матерью. Она старалась и не называть полузабытую женщину этим словом, а если и приходилось с кем-нибудь говорить о прошлом, звала ее просто по имени. Но и не все ей помнилось из первых дней и месяцев новой жизни. Многое позже рассказала тетя или кто-то из прислуги. Лучше и смешнее всех это делал дальний тетушкин родственник Прохор, казенный крепостной, самовыкупившийся и оставшийся на прежнем месте управителем и слугой у наместника, в старой Чулымской крепости.

Маша стояла у окна, и ее прекрасные глаза все не могли насытиться зрелищем лунного поднебесья, а память без оглядки на окрики воспитателей вытаскивала и щедро рассыпала яркую мозаику уходящего детства. Позапрошлым летом тетка сильно заболела, и, узнав об этом, Маша сломя голову бросилась за ней в Карловы Вары. Время, проведенное вместе, очень их сблизило. Сколько было переговорено, передумано, переспорено, переплакано! Когда Полине Захаровне стало совсем плохо и врачи лишь сочувственно вздыхали, Маша сидела с ней неотлучно и ночами, когда ей казалось, что тетка уснула или без сознания, давала свободу слезам, умоляя Бога пожалеть «мамочку» и вернуть ей здоровье. Тетка выздоровела. Уехав домой, она написала в письме, мол, чувствует: вымолила Маша ее у Бога.

В прошлом году перед окончанием курса их отправили на стажировку и отдых в Америку, по-правильному — Афроюсию. Без такой стажировки ни одно приличное учебное заведение не имело права выдать диплом об окончании. Эталонная страна и обязательная поездка туда стали для молодой поросли состоятельных граждан мира чем-то вроде детских прививок, гарантирующих сохранность их нравственного и идеологического здоровья в будущем. Но вот два долгих года разлуки позади. Она наконец-то дома, а вокруг ничего не изменилось, даже запах в ее комнате. Как же здесь хорошо! Машеньке захотелось скинуть с себя кисею одежды, выпрыгнуть в разомлевший от июльской неги сад и с детским визгом купаться в чудном небесном све-

те, тугими серебристыми потоками льющемся на вызревшую землю.

Спину лизнул осторожный холодок. Маша вздрогнула и обернулась на отворившуюся дверь. В комнату осторожно вошла Полина Захаровна.

— Мама!.. — девушка птицей метнулась навстречу.

3.

Как отвратительно в России по утрам! И как бы эту страну ни обзывали: азиатчиной, совдепией, новой или старой империей, демократической федерацией, Сибруссией — это гадливое ощущение у большинства особей обоего пола остается неизменным. Измениться может все — но похмельное утро останется. Б-р-р-р...

Генерал-Наместник Урза Филиппович Воробейчиков пробуждался с трудом. Если быть честным, сановный муж отходил от пьяного сна частями. Первым взбурился мочевой пузырь. «Вечно этой гадине неймется, — проплыла первая мысль в государственной голове. Вслед за пузырем заурчало нутро, заекало сердчишко, потом неловко зевнулось и больно скосило левую скулу, на лбу, толстых щеках и складках шеи выступил липкий противный пот. — Понеслось-поехало! Надо звать сатрапов, больше поспать не удастся».

— Эй! Гамадрилы! Спите, бездельники?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство господин Генерал-Наместник его светлости Прези-

дент-Императора по Барабинскому особому окуему. Мы бдим и готовы к выполнению любых повелений, — бодрыми, но слегка сипловатыми голосами складно-заученно выдали два госчиновника по особым поручениям, вбегая в опочивальню.

Урза Филиппович был господином лет шестидесяти, среднего телосложения, с бесцветными водянистыми глазами-пуговками на круглом, как блин, лице, напрочь лишенном каких бы то ни было признаков интеллекта. До этой высокой должности он долгие годы прослужил по военной части, больших чинов не имел, но в последней Кавказской войне отличился весьма особым образом. Когда толпы обезумевших фанатиков с воинствующими криками «Аллах акбар!» бросились на хилые позиции наших войск, генерал Воробейчиков в одиночку с огромным, в рост, портретом Президент-Императора пошел в контратаку. Неизвестно чего убоявшись, басурмане прекратили беспорядочную стрельбу и повернули назад. Фронт был спасен, уставшие от бесцельных санитарных потерь и беспробудной пьянки солдаты вернулись на свои редуты. О подвиге генерала донесли Августейшему Демократу, и тот подобрал для своего верного солдата более почетную и статусную должность. Конечно, нашлись завистники и ябеды, которые попытались извратить героический поступок генерала, распространяя гнусные домыслы о том, что Урза Филиппович заранее договорился с кавказцами и чуть ли не подкупил главарей. Были и другие, что весело скалили зубы: «Воробейчиков — продувная бестия и отъявленный нахал, все просчитал наперед и совершил

публичное надувательство». Базар-бузуки (именно так, с легкой руки журналистов конца прошлого века, их всех теперь называли) ни за какие деньги не позволили бы стрелять в портрет верховного лица государства, с которым они стремились воссоединиться. Дескать, подобное кощунство отбросило бы далеко назад трудные и запутанные мирные переговоры о добровольном обратном воссоединении Кавказа с Сибруссией, из-за чего, собственно, и шла пятнадцатый год Шестая Кавказская война. Но оставим на совести тех и других домыслы об истинных причинах кавказской трагедии и вернемся к окончательно пробудившемуся генералу.

— С опохмельецем вас, Урза Филиппович, — принимая опустошенную и еще потную от холодной водки стопку, произнес, кланяясь, Ирван Сидорович Босанько, самый близкий к Генерал-Наместнику человек.

— Душу, Ирван, стопкой не обманешь! Давай-ка, наливай еще одну, и баста! Всему свое время, выпью вторую и убирай эту губительницу полнозадую с очей моих, — он сделал пальцами кокетливую «козу» зеленой старинной бутылке, из которой неизменно пил уже лет двадцать, заставляя подчиненных держать бутыль всегда полной и охлажденной.

— Две только на поминках пьют, Урза Филиппович! — Не давая передохнуть, Босанько поднес третью.

— Уговорил, уговорил, ты и столб телеграфный уговоришь! Эх-ма, — опрокинул третью генерал, — крепчает с каждой рюмкой змеево отродье! Все, одеваться и — в представительство.

Представительство Генерал-Наместника располагалось в неприметном приземистом здании с четырьмя квадратными колоннами, притулившемся к жилым многоэтажкам на одной из обшарпанных центральных улиц. Неухоженный двор более походил на армейский плац с фигурными асфальтовыми заплатками. Говорят, в этом здании давным-давно размещались банк и публичный дом, и граждане при желании получали причитающиеся им по вкладам проценты в натуральном, так сказать, исчислении — услугами девиц с пониженной социальной ответственностью. Заведение долгие годы процветало, а потом растворилось в свежем воздухе перемен вместе с денежками вкладчиков, оставив за все расхлебываться бедных проституток. Внутри все так и осталось — широкая мраморная лестница, паркет, в правом, меньшем, крыле на втором и третьем этажах — просторные кабинеты и офисы бывшего банка, в левом — крошечные рабочие комнатки жриц любви. По невесть кем заведенной традиции в главном представительском здании на стенах коридоров устраивались выставки аборигенных художников, из-за чего временами оно принимало диковатый вид и походило то на вертеп хакасских разбойников времен Чингисхана, то на стойбище алтайских шаманов.

Как и каждое уважающее себя казенное заведение нового времени, Представительство выполняло представительские и координирующие функции, ни за что не отвечало и ничем не руководило, то есть фактически ничего не делало. Конечно, скажи вы это вслух в коридорах власти, вас бы вмиг

скрутили в бараний рог. Как так, полтысячи человек и ничего не делают?! Такого быть не может! Они что, даром, что ли, получают жалованье, надбавки-премии, доплаты за секретность и выплаты за особые условия труда, пайковые, проездные, командировочные и прочие, прочие, прочие. Вернее, не прочие, а наши кровные, которые ежемесячно братья-чиновники исправно выворачивают из народного кармана! Можно было бы и так воскликнуть, да вот некому. После Великой бюрократической революции, которую при Втором Преемнике учудил мыслитель мирового масштаба и выдающийся государственный деятель Дионисий Козел, чиновники окончательно одолели народ и победили здравый смысл, благо козлиное семя упало на подготовленную почву.

Рабочий день Генерал-Наместника начинался с приема докладов. Первым заходил Мустафий Муфлонович Склись, генерал на выданье, курировавший в округе всякие напасти, человек скрытный и коварный.

— Позвольте, Урза Филиппович, — с исполненным достоинства полупоклоном просочился в кабинет Склись...

— А чо тут позволять, когда ты уже здесь! Садись, докладывай!

— В целом обстановка в окуеме стабильная, за истекшие сутки никаких нештатных ситуаций не было. В Чулымском уделе опять начала выть собака...

— Что, уже полнолуние?

— Так точно-с. В том же уделе продолжают пошаливать лихие люди...

— Кто такие? Учреждено ли разбирательство? И что они творят-то?

— Разбирательство и следствие учреждено еще в прошлом годе, да результатов никаких. — Видя насупленные брови Урзы Филипповича, Мустафий Муфлонович поспешил оправдаться: — Да нет в том нашей вины. Удел убогий, украйний, на отшибе, там и беглые, и уйгуры, и шайки хакасов, и переметнувшиеся к сяньзянцам шорцы. Скоро девять месяцев как нет над уделом государственного догляду...

— Так ты и поезжай туда, батюшка, догляди! — с закипающей злобой прошипел Генерал-Наместник.

— Не извольте серчать, ваше высокопревосходительство, наместник Наместника туда уж как третью неделю назначен. Вы изволили в то время отдыхать с князем Ван-Петровым Тэр-оглы. А новый назначенец — столичная штучка, в заграницах воспитан, засланец известных в прошлом олигархов Понт-Колотийских. Енохом Миновичем зовется.

— Погоди-ка! Я же его деда помню, да и родителя, Мину, хорошо знаю, — наместник задумался, прикрыл глаза.

Мустафий замер. Он знал, что в подобные мгновения лучше раствориться, обратиться в пыль, съесть себя изнутри, чем издать хотя бы звук или совершить незначительное движение. Не дай бог! Ведь в эти секунды в державный ум заходила ее величество Мысль, дама капризная и непостоянная, с выкрутасами и извращениями, в последнее время не балующая вниманием стареющего генерала.

— Ты вот что, Мустафий, позови ко мне этого олигархёнка. И надобно еще... — Урза Филиппович выразительно замолчал, как бы взвешивая весомость просившихся наружу слов. — Хотя нет, это потом. Продолжай.

— Слушаюсь. В Томском уделе удельный староста пьянствовал со старостихой, а опосля устроил драку с протестантским пресвитером на почве религиозных дебатов о целомудрии, но вскорости все помирились, продолжили попойку, а затем совместно поколотили проезжего муллу, который, сославшись на Коран, не пожелал присоединиться к дискуссии. Мулла позорно бежал, а его жены остались и, пострадав от старостихи и иных местных дам, скрываются где-то на окрестных заимках. По этому случаю отмечены частые отлучки мужского населения.

— Гарем хоть стоящий?

— Разбирающиеся люди, принимавшие участие... ну в этих, как их...

— Шурах-мурах, дурак!

— Так точно! Говорят, стоящий гаремец...

— Пошли кого-нибудь поумнее, пусть проинспектирует и после медосмотра ко мне!

— Уже исполнено.

— Ну, — хмыкнул генерал, — тогда продолжим!

— В Угарском уделе смута. Староста и муниципальный председатель подбивают холопов и несознательных помещиков писать челобитную Президент-Императору о якобы творимом вами в окуеме безделии. Соглядатаи отправлены, комплексная проверка к вечеру будет на месте.

— И чтоб не миндальничали! Безделие им, видите ли, не нравится, так, может, делие по душе придется! Смотри, чтобы старосту в колодки, а помещиков-смутьянов пороть публично; имения — с молотка, только с казенного, не твоего! Ты меня понял?

— Чего ж тут не понять? Молоток у меня один, вашенский, так что как распорядитесь. В Гор-Чамальском уделе староста на заседании народного каганата вас, простите, назвал придурком.

— Надоел мне этот почетный свинопас на пенсии! — топнул под столом ногой начальник. — Это же надо, что ни каганат — одно и то же, хотя бы уж разнообразил, что ли! Давай дальше. Сам знаешь: этот старый ишак — дальний родственник второго визиря Президент-Императора.

— Ну, на территориях более ничего такого. В аппарате тоже рутина, высказываний и хулы не замечено. Блудят все по-старому, секретарша вашей заместительницы положила глаз на наместника по Гор-Чамальску.

— Вот коза! Ты ее отправь по улусам с предвыборными листовками, пусть собой за кандидатов во Всенародный Всевеликий Курултай поагитирует. Ишь чего вздумала — на сторону ходить, будто моего негласного распоряжения не знает! Иди, голубчик.

Следующим заходил заместитель по территориям и контролю. Потом замша по народным развлечениям и веселухе, потом кадры, ну и напоследок всякая чиновная мелочь. О ней можно было бы и не упоминать, если бы она, эта мелочь, не выпол-

няла важную аппаратную работу — стучать на свое начальство. Конечно, делалось это исподволь, в высокий кабинет заходили под безвинным предлогом или по указанию шефа, чтобы, не приведи господи, непосредственное начальство ни в чем не заподозрило. Главной заботой чиновника была борьба за прямой доступ к властьпредержащему телу. И если учесть, что администрация почти сплошь состояла из особ сильного полу, прямо какой-то Содом с Гоморрой получался: всех тянуло к начальнику, а самого начальника — к еще более высокому начальствующему телу и так, почитай, до самого верху.

Воробейчиков был опытным, хотя и солдафонистым управленцем и вовсю поощрял подобную борьбу, в ней он видел залог незыблемости персональной власти, без которой страна неминуемо, по его разумению, погрязла бы в кровавом хаосе.

После докладов шло чтение местной прессы. Газеты уже давно считались атавизмом, но меньше их от этого почему-то не становилось, может, Министерство народной нравственности и целомудрия забыло директиву какую-то выпустить. Воробейчиков газеты читал не из любопытства, а из недоверия к подчиненным, докладные записки обычно игнорировал, считая пустым переводом бумаги. Вычитав же в газете о крамоле, приключившейся в каком-нибудь из уделов, он созывал совещание и устраивал всем и каждому громогласный разнос. Убедить его в том, что написанное — просто-напросто измышления шелкоперов, было невозможно. Но задевала его не неосведомленность подчи-

ненных и не попытка что-то от него утаить. Нет, он бесился все по тому же поводу: вышло наружу, чего доброго до столицы может дойти, а там найдутся охотники все извратить, приврать с три короба и донести до монарших ушей в таком виде... что уж впору самому в отставку подавать.

4.

Предрассветной порой в этих краях, как правило, и в июле зябко. Частая роса выбеливает густую зелень и блекло тускнеет на травах, листьях деревьев и кустов, а они, переполнившись этой материализовавшейся из неоткуда влагой, прогибаются, проливая тонкие студеные струйки. Росная белесость держится до первых вспышек восходящего солнца. Стоит его ослепительно ярким лучам упасть на землю, как матовый налет моментально превращается в сказочные россыпи с мириадами разноцветных искорок и бликов. Каждая росинка, прежде чем бесследно исчезнуть, превращается в яркую, отражающую в себе весь мир хрустальную сферу. Возможно, то же происходит и с человеком, только поди угадай свой час...

В окуемский центр выехали затемно, дорога хоть по здешним меркам и не дальняя, но все же — часа три быстрой езды. Надо отдать должное последним двум Президент-Императорам, чему-чему, а дорогам при их правлении уделялось самое пристальное внимание. К тому подталкивала и на-

циональная гордость, и экономическая необходимость, и угроза международных санкций вплоть до лишения государственной самостоятельности. Особенно быстро дорожные дела шли при предыдущем правителе. Он изобрел договорные войны с китайцами, благо с ними мог воевать любой, шутка ли — четыре с половиной миллиарда народу! И вот с разрешения Всемирнейших Хранителей свободы и демократии отечественный Демократ-Самодержец объявлял потомкам хунвейбинов «иду на вы», убирал с границы сто пятьдесят стражников, и несметные полчища устремлялись в пределы родного отечества. Правда, это было странное войско, вооруженное в основном лопатами, кетменями, ситами для просеивания песка и прочей незамысловатой строительной всячиной. Войско шло с детишками, домашним скарбом, утварью и живностью, а главное — с русскими народными песнями на устах. Когда через священные рубежи переваливало миллионов пять-шесть, стража возвращалась на прежнее место, противник объявлялся окруженным и взятым в плен. Затевалось перемирие. Китайские товарищи дежурно адресовали мировому сообществу убедительную просьбу обеспечить гуманное обращение с пленными, способствовать их возвращению на историческую родину и вступали в длительные переговоры о спорных территориях. Но пленные назад, в Поднебесную, и не собирались. Всю эту разнородную массу спешно расталкивали по особым окуемам и уделам, ставили на строительство дорог и года через два, записав киргизами или бурятами, отпускали на все четыре сто-

роны. Высокие враждующие стороны оставались довольны и спустя какое-то время заключали очередной долгосрочный мирный договор. При этом отечественная сторона спешила оповестить свою и мировую общественность о резком росте численности населения Империи, обусловленном, понятное дело, ростом уровня жизни.

Дорога широкой серой змеей, поблескивая на подъемах и изгибах, неспешно вилась по живописному ландшафту. Урчание мотора, монотонное покачивание, слабый угар от выхлопов и прогорающего масла, поскрипывание и мелодичное похрустывание создавали ни с чем не сравнимый микромир отечественного самодвижущегося средства. Может, вселенский автопрогресс куда-то и ушел, мы, подчиняясь врожденному инстинкту мессианства, как стояли, так и стоим на своем: мол, единственно спасительная вера — православие, а лучшей машиной для чиновного люда и зажиточных граждан был и остается чудо-автомобиль «Волга». И никого не должно смущать, что большая часть этой великой некогда реки давно отошла независимым поволжцам, а те, в свою очередь, раскололись на три враждующих орды и сейчас активно пытаются включиться в очередную Кавказскую войну, чтобы вновь войти в состав Сибруссии. По мнению политтехнологов, с возвращением этих земель может открыться перспектива воссоздания и России. Конечно, без этого пугающего всех названия, без вселенских замашек, но все-таки! Чем мы хуже тех же американцев, добивающихся реабилитации прежнего названия — США — взамен нынешней

Афроюсии? Эту эталонную для всего мира страну переименовали лет пятнадцать назад по агрессивному волеизьявлению подавляющего большинства граждан, а теперь вот поняли, что погорячились...

Эх, дорога, дорога, какие бы китайцы ни заковали тебя в серую броню асфальта, ты все равно останешься родным, пыльным, разудалым и небезопасным русским шляхом. Все так же летишь ты в неведомую даль, и кровь закипает от мелькания твоих полосатых верстовых столбов, и кажется — нет и не будет тебе конца.

Не гоголевская бричка неслась по той дороге, но грохочущая и чадящая прогоревшим глушителем казенная «Волга», а в ней — не безвременно забытый и выброшенный из школьных учебников Чичиков дремал на сиденье, а некто еще неведомый миру, но так же, как и его предшественник, жаждавший славы, богатства и положения.

Еноха Миновича раздражало все: и недосып, и убогость служебного средства передвижения, и неопределенность предстоящего доклада, и скука, начинавшая потихоньку подтачивать авантюрную душу, и еще куча разных мелочей, названия которым и подобрать-то сложно. Водитель, угрюмый мужик с вечной иссиня-черной щетиной на впалых щеках, молчал, уцепившись за баранку. После первой же поездки с Берией, — а именно таким чудным именем наградили его родители, — Енох пожаловался Прохору на недовольный вид шофера.

— А полноть, барин, он завжды такой как есть захочет, а уж чего-чего, а поесть он всегда охоч и, главное, никогда не наедается! Вот такой конфуз.

С ним и девки связываться не хочут, говорят, даже при этих-то делах морда у него все одно кислая. Не обращайте внимания, бо другого шофера по-любому нетути. Обвыкнетесь как-нибудь.

За окном бесконечной чередой тянулась тайга.

Какой дурак находит красоту в этом бессмысленном нагромождении деловой древесины? Столько денег зря пропадает, ведь перестаивает лес! Когда мы наконец избавимся от этой безалаберности?! Ну вот, Енох, опять ты за свое! И кто такие «мы»? Мы как раз ты и есть, от тебя все и зависит. Не о древесине лучше думай, а о своем докладе. С первого разу не понравишься Генерал-Наместнику — никакие столичные связи не помогут. А этот Воробейчиков, говорят, с пулей в голове, чуть что — сразу за телефон и ну Царю наяривать. Недолюбливал и побаивался Енох Минович военных, хоть и бывших. Странный они народ. За душой ни полушки, а гонору на взвод олигархов хватит. И главное, деньги-то возьмут, но тут же, при тебе, по ветру пустят и с паршивым пятаком в кармане бросятся защищать интересы Державы и Самодержца, а тебя нет чтобы отблагодарить — так и норовят в мздодавцы записать. Непредсказуемый человек хуже вора. Вор-то он что, он свой, душа его как на ладони, не самое сложное порождение цивилизации, обычный деловой человек, а хочет того же, что и все: вложить меньше или ничего, а получить побольше. Средства негуманны? А кто полюса гуманизма определяет?

Со слов родителя, они с Воробейчиковым одно время дружковались и даже крутили любовь с од-

ной и той же девицей, которая с удовольствием доила и молодого офицера, и начинающего банкира. Молочные братья, одним словом. А я, выходит, своему начальнику молочный племянник...

Вдоль дороги замелькали рекламные плакаты. Вон новенький, три на шесть, плакат призывает отдать свои голоса за кандидата на замещение имени Преемника. Уж почти месяц минул после избирательно-передаточной кампаннии, уже Президент-Император Преемник Шестой управляет народом и готовится ко второму сроку, а эта Преемником же назначенная в конкуренты похабная рожа все обещает народу отмену крепостного права, запрет продажи людей, укрепление семьи путем ограничения числа венчаний. Безобразие! И это при въезде в окуемский центр! Хотя и свято право свободного предпринимательства, движения товаров и информации, все равно не порядок, надо Генерал-Наместнику-то доложить.

Или вон еще один шедевр. Плакат тех же размеров с полуобнаженной девицей, оседлавшей, словно ведьма юного борова, яркий пылесос. Красивое наглое лицо, выразительно надутые губы и огромная надпись на четырех языках: английском, арабском, китайском и русском: «Сосу почти задаром! Тел. 40-56-00». А внизу мелкая приписка на новорусском языке: «Отечественные пылесосы «Тайфун», собранные в Китае, экономят не только время, но и деньги, потребляя минимальное количество электроэнергии».

Зачем покупать дорогие диски с анекдотами, езди себе по дорогам отечества и поднимай настрое-

ние. Может, из-за этого неистребимого народного чувства юмора и пофигизма мы еще и держимся. Машина влилась в поток городского транспорта и запрыгала по ухабам. Городские улицы, отданные на обустройство муниципалитетам, не чинили со времен муниципальной реформы, а реформе этой, если память не подводит, уже лет шестьдесят. Денег убухали! Пытаясь приструнить своевольных губернаторов и отнять у них как можно больше полномочий, центральная власть бросилась руками все того же Дионисия проводить кардинальную муниципализацию и вместо пяти-шести городских районов понасоздавала по триста-четыреста, а кое-где и по тысяче муниципальных образований, а там, где имеется властная завязь, должен быть и опылитель будущих цветочков, да не один, а всенепременно с подчиненными, секретаршами, машинами, телефонами... То биш должен быть начальник со всеми вытекающими последствиями — в виде ям, вони да обвалившихся балконов на домах без воды и света.

Ближе к центру проезжая часть была забита техникой, традиционно доставляемой в эти края со всех автомобильных помоек мира. Между машин с независимым и гордым видом брели навьюченные верблюды. Рядом вышагивали крикливые погонщики в драных стеганых халатах, на спинах которых красовались изрядно вылинявшие портреты властителей халифатов, откуда они были родом и от чьего имени везли продавать свои товары. Под портретами виднелись стандартные пространные надписи, из которых четко можно было разобрать

только одну: «Я — Абдула, сын Али из рода выйчий — верный раб великого халифа Сташни-баши, да продлит Всевышний его годы! Предан, как собака, моему господину и всегда ему покорен». Надписи эти служили и загранпаспортом, и визитной карточкой, и сертификатом качества, и лицензией на право торговли, поэтому погонщики пуще жизни берегли халаты, выдаваемые щедрым халифом бесплатно раз в пять лет. К автомобильному чаду примешивался стойкий, ни с чем не сравнимый запах Азии.

Перед пустым двором представительства, у узких тротуаров, в несколько рядов стояли одинаковые грязно-серые детища Горьковского автозавода со спецномерами, напрочь перекрывая движение. Кое-как протиснувшись в гудящем, орущем и матерящемся автопотоке, Берия с первого раза ухитрился припарковать их рыдван на только что освободившееся место в ближнем к воротам ряду.

Вокруг кипела жизнь. Приехавшие из всех уделов окуема чиновники выгружали из багажников всякую всячину и торопливо, обгоняя друг друга, волокли в серое здание. Чего здесь только не было! Огромные копченые окороки, бутыли с мутноватой жидкостью, мешочки с кореньями, плетеные корзины и берестяные туеса с разнообразной снедью, заботливо повязанные чистой выбеленной холстиной, узкие штуки самого холста, осетровые хвосты и хищные морды тайменей, медвежьи шкуры, еще что-то живое и барахтающееся в огромных рогожных мехах.

«Вот это я влип! — подумал Енох, робко шагая к властному крыльцу и застенчиво помахивая тощим портфельцем. — Сюда надо было везти не вычурные обеъвровские сувениры и импортные шоколадки, а контейнер хорошего секонд-хенда. Ладно, первый раз в первый класс, дальше исправимся!»

Груды подношений с поразительной скоростью растаскивались по чиновным кабинетам, волоклись мешки, хлопали двери. Енох приметил одного из коллег, только что вышедшего из кабинета и улыбнувшегося ему навстречу раскосыми глазами. Вздохнув с облегчением, человек вытер лоб несвежим платком. Ответив на приветствие, Енох не спеша поднялся на третий этаж и свернул к кабинету генерала Склися, единственного знакомого ему здесь человека. Но не тут-то было: у кабинета толпилась очередь. Чиновный люд, рассовав крупногабаритные презенты по мелким, но очень нужным клеркам, спешил засвидетельствовать свою лояльность уполномоченному Третьего спецотделения тайной канцелярии Его Величества, генералу с неудобоваримой фамилией, а в его лице и самому Генерал-Наместнику. Судя по тому, как очередной посетитель, прежде чем войти, нервно ощупывал левый внутренний карман давно потерявшего форму пиджака, это почтение имело зримое бумажное выражение.

«До чего же примитивно! Одно слово: Азия! — подумал Енох с раздражением об этих колониальных нравах. — Да и черт бы с ними, с нравами, мне бы крест на шею, галун гражданского генерала, а главное — титул к фамилии. Вот тогда баста! Тогда можно назад, в родную Объевру, жить спокойной,

размеренной жизнью, мучиться ностальгией по дикой родине и пописывать мемуары.

— Господин, извините, не знаю имени-отчества, вы на аудиенцию стоите или так себе? — тронув Еноха за рукав, спросил невысокого роста человек в больших роговых очках, странном в серую елочку костюме из толстой шерстяной ткани, сбившемся набок рябом галстуке и желтой рубахе с засаленным воротом.

— Да я, пожалуй, как и все.

— Ну вот и хорошо, ну вот и хорошо. А что-то я вас раньше в этих стенах и не встречал? Ах, извините за бестактность! Позвольте представиться: действительный тайный инспектор, наместник Генерал-Наместника по Тюмокскому уделу Иванов Юнус Маодзедунович, — он лихо мотнул головой и после небольшой паузы добавил тихо: — Дворянин-с.

Народ вокруг приумолк. Все с любопытством следили за развитием событий, с интересом приглядываясь к крупному, элегантно одетому господину с холеной наружностью, невесть откуда и с какой целью пожаловавшему в их пенаты.

— Наместник Генерал-Наместника по Чулымскому уделу Енох Минович Понт-Колотийский к вашим услугам, господа! — громко и внятно произнес Енох, с достоинством чуть склонив голову и обводя взглядом стоящих вокруг людей.

— Коллега! — всплеснул руками Юнус Маодзедунович и полез было с объятиями, но, столкнувшись с вежливо-холодным взглядом визави, ограничился пожатием протянутой ему руки. — Ну и как, собака-то выть начала? Уже вторые сутки полной луны.

— А что с ней станется? — с ленцой отозвался Енох. — Воет, бестия.

Последнее замечание сразу явно разрядило обстановку, и после минутного замешательства начался присущий таким случаям легкий галдеж. К Еноху потянулись руки, каждый спешил назвать свою фамилию, удел, звание, произнести одну-две ничего не значащих фразы, непременно пригласить в гости и пожелать удачи на новом месте. Одним словом, разгадав его личность, народ вздохнул с облегчением и теперь раскованно знакомился с равным себе по положению.

«Из всей этой шатии только один граф, один барон и три хана, — отметил про себя Енох, — не густо, но на безрыбье и рак за щуку сойдет».

Однако в следующую минуту внимание присутствующих было отвлечено от Еноха, так как стало ясно, что всем желающим попасть в высокий кабинет сегодня не удастся. Требовательный звонок, как в театре, оповестил о необходимости спешить в актовую залу, где уже были расставлены по столам таблички с фамилиями чиновников, приглашенных на совещание.

Когда Енох появился в зале, народ неспешно и без особого шума рассаживался, переговариваясь вполголоса, приветствуя друг друга сдержанными кивками, либо чинно раскланиваясь, судя по всему, со старшими по службе. Совещание вел первый заместитель Генерал-Наместника, человек от природы спокойный, с тихим, невнятным и слегка шепелявым голосом. То ли от этой шепелявости, то ли от неопределенности темы, то ли от дорожной ус-

талости, но буквально минут через пятнадцать большая часть собравшихся спала мертвым сном. Ведущего и докладчиков это нисколько не смущало, и сами выступающие, оттарабанив положенное, вскоре мирно засыпали, устроившись в зале на жестких откидных креслах. Незаметно в предательскую дрему провалился и Енох. И не только провалился, но успел даже увидеть какой-то до необычайности приятный сон.

Еноху снилась большая лунная поляна в сосновом бору, посреди которой стоял высокий шелковый шатер, на манер былинных, у шатра сидела в прозрачных одеждах светловолосая голубоглазая красавица и неспешно расчесывала серебряным гребнем длинные густые волосы. Звучала какая-то чарующая музыка, расторопно и беззвучно сновали служанки, подстать хозяйке, хорошенькие и гибкие... Музыка постепенно становилась протяжнее, словно где-то в невидимом магнитофоне заело пленку. Еноха это насторожило, он напряг слух, и вдруг уже не музыка, а словно надрывный звериный вой заполнил собой всю окрестность, и в это время незнакомка подняла голову и поманила Еноха к себе. Тут вокруг сделалось ужасно шумно, и Енох проснулся.

Высокое собрание задвигало стульями, откровенно потягиваясь, загалдело, заулыбалось, заспешило, курящие уже потянулись из залы, на ходу доставая из карманов свои привады, нетерпеливо разминая тонкие, слегка похрустывающие белые цилиндрики заморских сигарет.

— Господин Понт-Колотийский! Вас приглашают для аудиенции к его высокопревосходительству

господину Генерал-Наместнику, — громко возвестил появившийся из двери чиновник.

Енох спросонья растерянно оглядывался, словно дожидаясь еще какого-то подтверждения только что услышанному.

— Енох Минович, вы бы поспешили. Ирван Сидорович вас в коридорчике поджидает, не бог весть какой чин, но уж очень близок к самому. Поспешайте, мой вам совет! — с жаром шепнул Юнус Маодзедунович почти в самое ухо. — Воробейчиков страсть как не любит опозданий да проволочек, военная косточка, сами понимаете! Так что идите с Богом...

Пробормотав невнятные слова благодарности и прихватив свой тощий портфельчик, Енох поспешил к выходу. В тесном коридоре действительно стоял какой-то человек, хмурый и неприступный, словно байкальский утес.

— Извините, я — Енох Минович Понт-Колотийский.

— Хорошо-с, — вертанувшись на каблуках, произнес чиновник и уже из-за спины бросил: — Следуйте за мной.

«Тоже, небось, из вояк, болван неотесанный», — подумал Енох, без особой приязни разглядывая широкую спину своего поводыря. Миновали еще три поста охраны и, прошагав несколько метров по толстому, восточной работы, ковру вошли в просторную приемную.

— Повремените минуточку, их высокопревосходительство изволят говорить по телефону. Присаживайтесь, пожалуйста.

Продекламировав полный набор дежурностей воркующим грудным голосом, полноватая миловидная женщина плавно выплыла из-за стола и, огорошив Еноха редкой для этих мест стройностью ног и неуместной в столь высоком заведении краткостью юбки, проследовала в кабинет помощника Генерал-Наместника.

«С ума сойти! Подаяния тащат не стесняясь, конвертами шуршат чуть ли не в открытую, дамы на рабочем месте в полной готовности. Не удивлюсь, если у нее под этой “мимо-юбкой” и нету ничего», — провожая секретаршу растерянно-заинтересованным взглядом, подумал Енох.

«Ишь ты, как на чужое-то пялится, торопыга московская, — наблюдая за новичком, отметил про себя Ирван Сидорович. — Наприсылают сюда разных хлюстов, а нам с ними возись. Это он сейчас так кротко на чужую секретаршу пялится, а как пообвыкнется, тут уж ничего хорошего не жди! Надо будет про то, как он на Индиану-то глядел, непременно просигнализировать».

На рабочем столе секретарши что-то запиликало, завздыхало. Она впорхнула в приемную, сноровисто взяла трубку, внимательно ее выслушала и, повернувшись к Еноху, с многозначительной улыбкой сообщила:

— Вас ждут. Прошу оставить в приемной мобильные телефоны.

— Пока не обзавелся, — с ответной всепонимающей улыбкой отозвался Енох и прошел в высокий кабинет.

5.

Маша проснулась поздно. Почти всю ночь с теткой проговорили. Ох уж эти женские разговоры! Сколько в них всего! Как душу будоражат, как сладостно дают волю слезам, как трогательно вырывают из груди долгие вздохи! Кто не испытывал на себе их чары, тот либо черств, либо обделен великой благодатью душевного родства. Долгие часы обращаются в краткие мгновения, только что луна, взойдя, пророчила нескончаемую ночь, а гляди ж ты — уже предрассветно заливаются птахи и вовсю золотится набухший новым светом восход, а разговор все не кончается. И вот белый день на дворе, а веки еще смежены, сон не отпускает и уступать место жужжащему назойливой мухой утру не спешит. Разгоревшееся солнце медленно плавится в полуденном мареве, и надо пробуждаться, а как не хо-о-чется...

Девушка потянулась, вдохнула полной грудью, задержала дыхание, длинно выдохнула и только потом открыла глаза и села на кровати, поматывая из стороны в сторону отяжелевшей головой. Окно так и осталось открытым, только тонкая сетка от комаров выгибалась словно парус, и казалось, не воздух колеблет тонкую ткань, а тугие потоки солнечного света. В памяти всплыл ночной разговор, и Машеньке взгрустнулось. Непривычно, что она уж не ребенок, через четыре дня ей восемнадцать, впереди пугающая неизвестностью взрослая жизнь, замужество, дети. Она встала, подошла к зеркалу,

придирчиво себя осмотрела и, оставшись вполне довольной своими формами и покатостями, отправилась умываться.

В столовой было тихо и прохладно. Дворовая девушка Даша, с которой у Машеньки была старая дружба и еще детские общие секреты, быстро собрала нехитрый завтрак.

— Вы, барышня, не наедайтесь, через полтора часа обед. Хозяйка велела вас разбудить к столу, а вы вон сами раньше встали.

— Дашка, я тебя поколочу! Что это еще за «барышня»?! Мы все русские люди, и все перед нашим Богом равны!

— Перед Богом, может, мы и равны, Мария Захаровна, а перед вами и тетушкой вашей мне равняться несподручно будет. Вы — баре, а я — крепостная девушка.

— Мы ж с тобой подружки, вспомни, сколько всего нас связывает! Или ты нарочно так говоришь, чтобы меня позлить?

— Да полноть, что это я вас спросонья злить-то буду? Просто детство детством, а жизнь жизнью. Мне вон Полина Захаровна с утра велели поступать в полное ваше распоряжение и быть неотлучно с вами, так что с сегодняшнего дня я — ваша личная служанка.

Девушка заплакала.

Маша отбросила салфетку и, выскочив из-за стола, обняла ее:

— Перестань сейчас же! Дашенька, это я вчера попросила тетушку позволить мне почаще с тобой бывать, учиться у тебя рукоделию, стряпне, ну и

всему такому, ты же знаешь — я полная неумеха. Прости, если обидела. Ей-богу не хотела...

— Вы ничего такого не подумайте! — продолжая шмыгать носом, сквозь слезы отвечала Даша. — Мне это радостно, да и интересно с вами, вы вон ученая, не то что я — пятилетку бесплатную окончила и все, а далее у родителей только на брата достатка хватило. Вы же знаете, он полную школу окончил и сейчас в губернском городе в академии учится. Не с того я плачу, что велено при вас состоять, а с того, что вы погостите и подадитесь обратно в заграницы, и мне тогда с вами ехать придется. А мне нельзя... — девушка опять заплакала.

— Да не собираюсь я уезжать! Год точно побуду, поживу по-нашему, по-русски, работам сельским поучусь, присмотрюсь, как хозяйство вести, — продолжая поглаживать вздрагивающие плечи, ласково говорила Маша. — Да и чего ты, глупая, заграницы испугалась, там ведь тоже интересно...

— Мария Захаровна, вы такая добрая, я с вами хоть куда, только не могу сейчас уехать из дома, сердце не выдержит! — Украдкой глянув на дверь, ведущую в кухню, она страстно зашептала: — Я в Юньку влюбилась. Мы, почитай, уже полгода женихаемся...

— Как женихаетесь и кто этот Юнька? — тоже перейдя на шепот, с нескрываемым интересом перебила ее Маша.

— Да по-разному, — хихикнула сквозь слезы девушка. — Я совсем голову потеряла, а по-другому не могу: как представлю, что он с кем-то другим на

сеновал полезет, аж искры из меня летят. Не обижайтесь на меня, нельзя мне сейчас уезжать.

— Да кто такой этот Юнька? Откройся, не томи!

— Да знаете вы его, Юань это, сын Агафия, конюха барского!

— О господи! Он же конопатый! Не ты ли пуще всех его дразнила?

— Дурочкой малолетней была... Вы не подумайте чего, — как бы спохватившись, с гордостью прибавила Даша, утирая зареванное личико, — у нас все серьезно. Он тоже меня любит, и поженимся мы, Бог даст.

— Ну вот и хорошо, — мечтательно протянула Маша. — Любит! Прекрасно! Петь, кричать надо от радости, а ты в слезы... И сеновал тут при чем?

— У нас, у простых людей о любви лучше молчать и даже вообще о ней не поминать. А сеновал что будка для кобеля. Походит он кругами — да и приволочет кого, или какая сука сама затянет.

— Что это вы там воркуете? — перебила их на самом трепетном месте теткина домоуправительница Глафира Ибрагимовна. — Дашка, ты что вытворяешь? Скоро обед, а стол не прибран! Ты, Марья, извини, опосля поговорите, народу работать надо.

— А где тетя?

— Как где? В поле. Спозаранку укатила. Скоро приедет. Ты бы, баринька, пошла к обеду прибралась-приоделась, а то, чай, третий час уже.

Полина Захаровна въехала во двор на видавшем виды американском армейском джипе, их в начале

крепостного права поставляли по новому ленд-лизу из Афроюсии. За эти стареющие на армейских складах машинки афроюсам пришлось отписать, почитай, половину Чукотки. Когда сделка века состоялась, выяснилось, что другую чукотскую половину тем же юсикам уже лет сорок как заложила семья Ромовичей, чей дед когда-то там губернаторствовал и за бесценок приватизировал эти бросовые земли. Юсики тут же разбили еще три штата, за полтора месяца отыскали в Чукотских недрах уйму золота, нефти и других полезных, а главное, пользовательных ископаемых и огородили свою местность высоченной Прозрачной стеной. Наши туда, к стенке этой, на выходные ездят на оленях, поглазеть на невзаправдошнюю жизнь.

Отряхиваясь от пыли, Полина Захаровна костерила кого-то на чем свет стоит. Только внимательно прислушавшись, можно было понять, что все эти виртуозные завихрения недостаточно нормативной лексики относятся к Генерал-Наместнику Воробейчикову.

— Ну, остолоп египетского разлива! Ну, вражина! И где их Царь только отыскивает, в каком дерьмоотстойнике?! Ведь захочешь пугало огородное найти, так черта с два! А эти как лепехи после коров, куда ни встань — сплошная дрянь! И чего эта генеральская рожа учудила! Нет, вы только послушайте, люди добрые! — При этом барыня почему-то воздела руки свои к небу, будто только там и остались еще порядочные сограждане, а рядом, на земле — сплошь воробейчиковские выкормыши. — Этот остолоп издал намедни указ, запрещающий

местным курам нести более трех яиц в неделю. Ну не дурелом?! И главное, ответственность за соблюдение возложил на владельцев петухов, птичник в лампасах!

— Так может, матушка, для него, кобеля, что девка, что курица — одна масть, — отозвалась с крыльца Глафира Ибрагимовна.

— И не говори, Глафирушка! Где только сыскать грамотея, чтобы петухам всю эту дурь растолковать? Придется Юаньку в Москву за толмачами посылать. И смех и грех. Но вы главного еще не слышали! — С этими словами она извлекла из-за пояса сложенный гармошкой лист бумаги, развернула и, стоя на автомобиле, как заправский глашатай, начала читать: — «А кто станет противиться этому повелению, приказываю: хозяина петуха, невзираючи на половую принадлежность, вероисповедание и возраст, сечь батогами, исчисляючи количественность наказания в простой прогрессии за каждое незаконнорожденное яйцо...» Да погодьте вы ржать! — еле сдерживая себя, прицыкнула Полина Захаровна на девок и продолжила: — ...Петуха-ослушника, — барыня набрала полную грудь воздуха, — после публичного избиения ивовым прутом малого калибру, подвергнуть принудительной кастрации, кою надлежит производить под наблюдением соответсвующего медицинского работника по животноптичьей части!

Дворня, лишившись дара речи, какое-то время молчала, только слышно было, как кудахчет за домом курица, оповещая окружающих о снесенном

яйце, потом разразилась хохотом. Вместе со всеми задорно, до слез, смеялась и Маша. Полина Захаровна стояла монументально, как статуя, со злосчастной бумагой в руке. Она не смеялась, только озорные искры, словно короткие синие молнии, сыпались из глаз, да ходуном ходили желваки на скулах. Победно осматривая свою рать, она задержалась на смеющейся племяннице.

— И как тебе, Маша? Привыкай, дочка, это Родина, здесь не живут, здесь выживают и все равно поют песни, влюбляются, рожают детишек и от пуза ржут над собой и начальством. Господи, сколько же нам еще мучиться? Хоть детей пощади, они уже в заграницах *у*чены, поразбегутся все, и так уже одни дурачки да алкаши пооставались!.. Что, Глафира, обед-то готов?

— Готов, барыня! Остыл уже, чай!

Обедалось весело. Здесь за столом и выяснилось, что грозная реляция была вызвана опасениями Генерал-Наместника «...усилившейся в последнее время тенденцией роста куро-петушиного поголовья в окуеме, что может неизбежно привести к нанесению невосполнимого урону дружеской нам Афроюсии. И урон сей может приключиться в области производства основного вида их экспорта — куриных ножек имени отца, и сына, и внука Буша. А сия недальновидность чревата новой волной гонки вооружений и возможностью военного конфликта, крайне нежелательного для нашей идущей на подъем державы».

Все дружно смеялись и порешили вечером собраться в птичнике, дабы от имени петухов и примкнувших к ним из солидарности иных особей мужского пола написать протест на бесчинства генерала Воробейчикова в Международный комитет по правам и свободам всех видов земной жизни.

Еще не встали из-за стола, как пошел емкий такой дождик. Проворные тучки, сновавшие по насупившемуся небу, сбирались в серые туманности, набрякали небесной влагой и доились теплыми струйками, сквозь которые откуда-то сбоку светило солнце. Сразу три радуги выгнули над миром свои разноцветные древние подковы, о чем-то возвещая заблудившимся в самих себе людям.

После обеда все разбрелись по своим заугольям и, притулившись кто куда, сладко и безмятежно предались тихой послеобеденной дреме, — так своевременно возвратившейся нашей древней традиции. Оказалось, что днем подремать полезно не только детям, но и их затюканным поденщиной родителям. Во все времена и во всем мире народ посреди дня расслаблялся кто как мог, и только мы, наскоро заправившись половиной батона с кефиром или осклизлой котлетой с мутью жидкого супчика, торопливо обтерев липкие от моргусалина губы и ухватив ими воняющую горелой тряпкой «примину», летели вприпрыжку на свое рабочее место, чтобы в полусонном состоянии гнать послеобеденный брак. Хорошо было в НИИ, там все равно урывали украдкой за кульманом, размазывая по ватману сладкие слюни. У всей Европы сиеста, а у нас брак, травматизм и недород по части демогра-

фии. Но и это, слава богу, в прошлом. А иные талдычат о пагубности крепостного права! Балаболы, гнилые либералишки! Какие пагубности? Сплошь положительные моменты на пути воскрешения величия нации.

Маша задремала, едва коснулась головой подушки, даже не сняв с себя модного платья, в котором вышла к обеду, чем весьма порадовала тетку. И приснился ей сон. Будто она сидит посреди залитой лунным светом поляны, почти голая, в прозрачной накидке, и медленно расчесывает волосы большим серебряным гребнем. Где-то далеко тихо и красиво воет собака, свистят невидимые ночные птахи, сноровисто и гибко, словно танцуя, снует Даша и другие дворовые девушки. Все покойно и блаженно. Вдруг Маша видит мужчину. Сначала ей показалось, что это Юнька, зовущий ее на сеновал. Она поднимается и, пряча глаза от Даши, идет на этот беззвучный, лишающий воли зов. Но почти приблизившись к ведущей в небеса лестнице, взявшись руками за прохладные, отполированные временем и миллионами предшественниц перекладины, в ужасе видит, что там, наверху, ее манит руками не Юнька, а совсем незнакомый человек в заграничном платье и с загадочной улыбкой на устах. От неожиданности она вскрикнула и проснулась. У двери с охапкой вещей, собранных для стирки, замерла испуганная Даша.

— Господи! — роняя поклажу, бросилась она к растерянно озирающейся Машеньке. — Что же это

вы себе такое наснили? А закричали-то как! Аж кровь заледенела, вон руки холодные сделались!

— Да глупости какие-то...

— Вы хоть намекните, кто вас так перепугал-то? Я попробую вам сон растолковать. Иной раз и Глафира Ибрагимовна меня к себе призывает. Но у нее сны дюже неинтересные, про муку да варенье с соленьем...

— Хорошо, только, гляди, никому. — И она рассказала все: и про поляну, и про наготу, и про собачий вой, и про лестницу, и про симпатичного неизвестного, опустила только про Юньку, по зову которого, собственно, и собралась на сеновал...

— Ой, барыня, любовь вас ждет пресильная! — всплеснула руками Даша. — Как я рада! Вот только есть в вашем сне неясности...

— Какие?

— Да я и сама не поняла. Можно с кумой мельника, Анютихой, посоветоваться? Я вроде как про себя расскажу. Она в окуеме лучшая толковница и гадалица. — Девушка помолчала, а потом вдруг нараспев промолвила: — А может, и не надо до всего дознаваться, придет время — само откроется.

— Нет уж, ты мне все разузнай. Сама не своя буду, пока до всего не дознаюсь. Сердце и сейчас так и прыгает.

— Да вы никак нецелованная? Ой, простите, что-то я в дурь поперла...

— Ну да, так и есть, я, конечно, целовалась, но дальше поцелуев и взаимной дрожи не заходило. Правда, один раз... — Маша замялась, — но это не в счет и к мужчинам не имеет отношения.

— Да что вы, дело житейское, все мы, бабы, первый сок из себя сами или с подружками выжимаем. Это уж после, как попробуешь да в охотку войдешь, страсти обуревать начинают, а до этого — так, девичьи шалости. Ой, господи! Совсем из головы выскочило! — Она с опаской покосилась на дверь, подошла к окну, перегнувшись, глянула вниз, и вернулась к Машиной кровати: — Юнька согласился взять меня на одно рисковое дело. Противозаконное, ежели кто дознается, всех колодки ждать будут, а может, угольные копи... У нас в окрестностях объявился недавно глашатай воскресшего старинного бога. Люди к нему по ночам собираются. Вопросы пытают, о жизни, об урожае, о женах... ну и о других разностях выспрашивают, а старик этот их поучает. Да, говорят, так ловко, складно, а главное — что ни скажет, сбывается. Юнька говорит, туда только мужиков допускают, хотя за дедом неотлучно следуют молодые девки. Внучки, прислужницы или еще кто, о том неведомо. Пойдете со мной, али как?

— Но ты же сама говоришь, девиц туда не пускают...

— А мы впотай. Дед этот из чащоб в полную луну выходит и всегда к одной и той же ярыге. Они там внизу, у костра, будут свое гутарить, а мы сверьху, в хмызняке притаясь, послушаем. Може, чего и учуем, а не учуем, хоть увидим. Шутка ли, глашатай древнего Бога! Вы это... как дом уснет, оконце отворите, Юнька лестницу приставит с вечеру, вроде как ремонтировать чего, вы по ней в сад и спускайтесь, как условный сигнал услышите. Кукушка три

раза кукукнет, малешко помолчит и еще два разочку: ку-ку, ку-ку. Только в темненькое оденьтесь, в штаны какие и рубаху. Ну, я побежала, а то не успею ваши одежи постирать...

6.

Аудиенция у Генерал-Наместника удалась. И презент он принял, и родительский привет, и сам, почитай, битый час вспоминал их молодые похождения. Расчувствовался, а когда Енох еще сообщил, что в Кремле ему выбор был, куда пойти служить отчизне, и он сознательно, ну и по совету отца, конечно, предпочел этот далекий окуем столичным задворкам, Урза Филиппович вообще в восторг пришел:

— Я вот что вам, милейший Енох Минович, скажу: каждый державный муж приходит к такой потребности, когда ему уже ни денег, ни чинов, ни продвижения не надобно, а одно-единственное душу и разум напрягает — жажда передать свой опыт, свои знания молодежи, идущей за тобой по государственной тропе служения Августейшему Демократу. Вот в чем смысл нашего земного бытия, вот что ни тлен не тронет, ни червь не подточит. Но редко ныне найдешь достойных юношей. Все в наставники рвутся! Сам-то от горшка три вершка, жиденькую бороденку отрастил, заморскую бурсу, прости господи, закончил и уж мнит себя столпом экономики, в министры метит, истины с экранов вещает, державой управляет! А сам гвоздя ржавого

не забил, с паршивой лавчонкой на базаре никогда не управлялся. Зато языком ловко тренькает! Тьфу, да и только!

— Вы, глубокоуважаемый Урза Филипович, даже и не подозреваете, до чего правы. Моему поколению, хоть и пожили мы еще недостаточно, много такого досталось. И умников этих среди моих погодков наблюдать приходилось, так сказать, в зачатке. Гнилостный в подавляющей массе народец, продувной. А главное, почти сплошь инородный. Ну о каких они интересах Державы печься могут, когда их земля обетованная — Объевра. Я больше скажу, только вы уж откровения мои за крамолу не примите, — не та поросль вокруг Царя-батюшки собралась, сплошь чертополох какой-то безродный, дачно-приозерский. Мне так думается, что такие, как вы, Урза Филиппович, должны быть в ближнем окружении Президент-Императора.

— Мой вам совет, — многозначительно воздел указующий перст генерал, — об инородцах поменьше распространяйтесь. Откуда в нашей многонациональной державе инородцам-то взяться? Все мы инородцевы дети, и от этого никуда не деться. Да и времена сами знаете какие!..

«Да, перебрал я малость, — сдрейфил Енох. — Что-то меня уж слишком понесло!» — а вслух виновато произнес:

— Так я же о благе Отечества пекусь, а крамола как раз от этих умников и идет...

— Батюшка вы наш разлюбезный, — принялся поучать начальник, — из-за межи к нам, темным, свет истины и свободы идет. А крамола, она у нас

самих колосится, словно бурьян. Вы это накрепко запомните, без Запада и Западо-Востока мы — ноль! Мы — срединная мягкотелость, в том беда и сила наши. А потому давайте в рабочем кабинете о пустопорожних предметах говорить не будем, — на всякий случай перестраховался Наместник. «Кто его знает, что за фрукт приехал в его округ, для начала проверить следует, а уж потом дозволять крамолу говорить», — подумал он и, не сбавляя оборотов, продолжил: — В толк не возьму, вас что там, за бугром, не доучили малость али, наоборот, переучили вусмерть? Ровно как Берез-Вениковский, царство ему небесное, околесицу несете не по чину.

— Простите, господин Генерал-Наместник! — переходя на официальный тон и понимая, принялся благодушно оправдываться Енох. — Я с вами полностью согласен, вестимо, у нас и своей крамолы полно, хотя враги Царя-Президента и святой Державы нашей в основном в заграницах поокопались! — делая вид, что предыдущие слова начальника его никоим боком не касались, гнул свое посетитель. — Нынче наш отчий дом, как считает народ и Его Величество Преемник Шестой, на подъеме. Благосостояния людские растут, промышленность прет, червонец стабилизировался, того и гляди золотым станет, войны утихают, хлеба и зрелищ имеем предостаточно, а главное, демократия заматерела и обратилась в незыблемость. Это же очевидно! А что эти, простите за несалонное слово, гниды творят? Они хулу на нас собирают, каждый успех в поражение норовят обернуть. Детей от родителей пытаются отбить!

Тургенят, одним словом, рахметовщину с базаровщиной разводят. Инородцы они для всех нас и всего демократического человечества, не по рождению, не по крови, а по духу своему гадкому. Вот каков смысл я вкладывал в эти слова. Вы должны понять мою горячность. А что до учения в Объевре и Афроюсии — грош ему цена. Наплевать и забыть, только с сего дня по-настоящему учиться-то и стал, за что поклон вам земной и сыновняя благодарность.

«Вот отродье банкирское! С таким ухо надо держать востро. Поди их сегодня разбери, молодых, хотя — не так уж он и молод. Вон куда хватил, Тургенева приплел, а ученость показал. Далеко пойдет, ежели, конечно, мы позволим», — полуприкрыв лицо широкой ладонью, думал старый генерал.

Потом долго пили чай, говорили о местных красотах и дикости.

— После предшественника вашего окаянного трудновато вам будет. Отчаянный был, до жути. Однажды, уже к вечеру, прибыл ко мне с докладом. Не большой я любитель дергать людей понапрасну, пусть себе работают, да и экономия, а то одного бензину уходит прорва. А здесь заявился, весь блестит как масленичный блин, мол, извел я, ваше высокопревосходительство, в своем уделе недоимщиков, ябед и прочую противоправную нечисть, — и бах мне на стол нечто в полотняном мешочке. Я уже, признаться, перекреститься собрался, думал, что он мне чью-то отрубленную голову приволок. С него-то станется! А он это, тесьму распустил и достает из мешка трехлитро-

вую банку. Стекло зеленовато-мутное, да и я уже на глаза ослаб. Придвинулся поближе и едва чувств не лишился.

— И что же в банке было?

— Уши.

— Как уши?! — отолбенел Енох.

— А так, человеческие уши, — понизил голос хозяин кабинета. — Почти половина банки, да еще самогоном залиты, чтобы не завоняли. Пришел я малость в себя, дрожь унял и спрашиваю, что же ты, паршивец, творишь? А он: устанавливаю, мол, демократию, веду активную борьбу с антигосударственным и несознательным элементом. Здесь, говорит, тридцать левых ушей и двадцать четыре правых. И пусть знают: ежели не исправятся, приду и уже не уши — головы отрежу и у изваяния Преемника Великого поскладываю. Отправил я его с этой посудиной в гостиницу, а сам ну в столицу звонить. Дело-то не шутейное, это тебе не солдат какой проштрафился. Звоню и туда и сюда, а там как обычно — ни да, ни нет. Потом один из визирей спрашивает, дескать, жалобы от населения есть? Нет, говорю, не поступало. «Так чего волну гонишь? Сам-то безухих видел?» Нет, говорю. «Так на нет и суда нет. Ты его пока в дурдом определяй и бумаги соответствующие готовь. Хотя, говорит, жаль будет расставаться, такие работники нам нужны, да и на действительного тайного советника ему мы уж документы послали». Вот такой у вас предшественник был, — подвел итог хозяин кабинета. — Вы, главное, не тушуйтесь попервости. Как себя изна-

чально поставите, так вас общество и воспримет. Месяца три-четыре вас многие на «понял-понял» брать попытаются...

— И кто же на такое решится? — удивленно поднял брови Енох.

— Да кто угодно, — ухмехнулся старый генерал. — И помещики, и служивые федералисты и, вестимо, муниципальный староста, и депутаты удельных каганов, да мало ли еще какого люду по окуемам шарится. В случае чего особо не миндальничайте. В государстве должна быть строгость. И запомните, никакая другая организация не может оказаться сильнее даже самого слабого государства. Это претит здравому смыслу и промыслу Божьему.

— Ваше высокопревосходительство, дозвольте полюбопытствовать, а с ушами-то что стало?

— С какими ушами? А, с банкой? Так она и ныне в краеведческом музее пылится. Как немое свидетельство борьбы старого с новым. Пояснение гласит, что в банке уши не злостных недоимщиков и самогонщиков, а праведных активистов, зло умученных сторонниками темных сил и антиглобализма. Понимаю ваше смятение. Но всякая наглядность, какой бы она ни была, обязана служить прогрессу. — И глянув на здоровенные часы, выполненные в виде двуглавого медведя, старый генерал хлопнул руками о крышку стола, давая понять, что аудиенция окончена. — Заговорились мы с вами, а у меня полно неотложных государственных дел. Ступайте с Богом. Батюшке поклон передавайте, мол, в гости жду. Уж тряхнем стариной!

Обязательно сообщите, что варьете здесь по фактуре не хуже столичного, — прибавил он со смехом. — Ну-с, с Богом.

Распрощавшись с начальством, всучив вездесущему и всеведущему Ирвану Сидоровичу полукилограммовый золотой брелок для ключей, а крутозадой Индиане — объевровские духи, Енох занялся подготовкой важного мероприятия.

По древней чиновной традиции всякий новичок, поступивший в ведомство, должен был, что называется, «прописаться», или «проставиться», то есть накрыть отменный стол и отпотчевать сослуживцев, а если повезет, то и начальствующий состав. Енох об этом, конечно, знал и загодя отправил Берию организовывать пиршество в одно тихое, очень дорогое заведение, об экзотике которого был наслышан еще в столице.

— Енох Минович, не сочтите за навязчивость, — еще на лестнице окликнул его Юнус Маодзедунович, — но позвольте полюбопытствовать: «прописочку» отмечать сегодня будем? А то народ беспокоится, ежели вы в стеснении, можно сие благое дело и отложить. А сегодня кутнем по подписке, тыщенки по полторы с носа.

— Позвольте, Юнус Маодзедунович, какая подписка, нешто я традиций не знаю?! Вы вот что, подсобите мне список составить. «Прописка» дело нешуточное, от нее много зависит, не правда ли?

— Истину глаголешь, сын мой, — раздался откуда-то снизу раскатистый баритон.

Енох в недоумении уставился на Иванова.

— Да это окружной архиерей, владыко Илларион, вы к нему сейчас под благословение, да и на посиделки пригласите, — понизил голос Юнус. — Весьма влиятельная личность при господине Наместнике, злые языки поговаривают, скрытый масон и чуть ли не держатель мастерка местной ложи.

— Что это ты, Маодзедунович, душе новой и чистой про меня нашептываешь? Небось опять про мои грехопадения да про треклятое масонство? Бессовестные враки, любезный Енох Минович, — привычным жестом благословляя согбенного чиновника и принимая традиционные лобзания, благодушно прогудел владыко.

— Ваше преосвященство, не соизволите ли с нами отобедать? Так сказать, повинуясь традиции...

— Похвально, похвально, что традиции чтите, но куда мне в облачении да с панагиями в вертеп разврата...

— Владыко, не гневайтесь! Выбор заведения был случайным и без учета вашей милости. Но я все мигом исправлю, прямо сейчас дам распоряжение!

— Помилосердствуйте, гуляйте уж своей компанией, своим миром, а мы помолимся о просветлении заблудших душ ваших. Да и дела у меня. Другим разом свидимся, за приглашение спасибо. Так что благословляю сегодняшний стол ваш. — Громко постукивая золоченым посохом, епископ гордо проследовал далее.

— Ну, вот и хорошо, — опять зашептал Юнус Маодзедунович. — И этикет соблюли, и слуге божьему весь вечер комплименты петь не придется.

Енох машинально кивнул. «Ты смотри, как у владыки разведка поставлена! Красавчик! Надо будет справки навести».

Когда честная компания узнала, куда приглашена, произошла немая сцена, а потом хлынул всеобщий восторг. Так почти всегда бывает, когда некое служивое общество собирается поразвлечься. В считанные минуты в нем воцаряется неподдельный юношеский дух, и почтенные чиновники, степенные главы семейств и государевы мужи мигом обращаются в беззаботных, шкодливых школяров или юнкеров выпускного курса. Особенно это заметно в компаниях, где большинство публики составляют воинские чины или офицеры в отставке. Того и гляди один седеющий генерал другому, не менее почтенному, к хлястику вицмундира серебряную вилку или бокал на неизвестно откуда взявшейся бечевке подвесит. А так как в нынешние времена почти весь управленческий класс формировался из военного сословия, и более всего из отставных жандармов, нравы и повадки в нем царили соответствующие.

Питейное заведение располагалось в неброском кирпичном здании, притаившемся в густых зарослях нарочито неухоженного сквера. Молчаливые швейцары, полусонные, тусклые залы, слабо одетые официантки с одинаково правильными фигурами и длинными ногами. На таких посмотришь и забываешь, что зашел сюда банально пообедать. Несмотря на свои модельные формы, в эти дневные и вроде как не совсем урочные часы, дивы бро-

дили по залу медленно, лениво, позевывая, отчего со стороны напоминали больших красивых рыб. Но стоило веселой ватаге ввалиться в заведение, как тут же случилась разительная перемена. Швейцары выпрямились во весь гренадерский рост, метрдотели громко захлопали, вспыхнули где-то запрятанные светильники, по стенам заскользили будоражащие воображение тени, у официанток попки встали на боевой взвод, а аппетитные груди повываливались из лифов, призывно подмигивая коричневыми зрачками сосцов. Гульба началась.

Русская попойка отвратительна, а попойка русских чиновников отвратительна вдвойне и, может, сопоставима по своей ненасытности только с пьянкой братьев по бывшему соцлагерю, ныне свободных, гордых и безбожно бедных, отчего все их тянет объединиться меж собой то в великие княжества, то в графские демократии, то в народные ханства. Кстати, политтехнологи полагают, что такие слияния обычно происходят из пресловутой тяги данных этносов к халяве и несусветной соседской зависти.

Настоящая пьянка бывает только на дармовщину. Негромкая фраза, произнесенная Енохом Миновичем при выходе из представительства: «Господа, попрошу вас в заведении не стесняться, я человек состоятельный, и для друзей мне ничего не жалко, гуляем по полной!» — была всеми услышана и воспринята как руководство к действию.

Ни в одном государстве не любит чиновник пьянствовать на свои кровные, предпочитая кутнуть за счет казны или сограждан. Однако до тако-

го разгула, как у нас, им пока далеко. Там никому и в голову не придет, что можно, скажем, в обед собрать полуправления или департамента Главной Администрации страны и увести трапезничать в один из фешенебельных ресторанов, открытых неподалеку специально для этих целей. Это исконно наше изобретение, как и сногсшибательные бани с бассейном и девочками, расположенные в старинных подвалах, напротив парадного входа в Конституционный суд, под одной из главных чиновных площадей столицы. Может, наверху тебя начальство и дрючит, зато в подвале ты уж сам душу отводишь! Но такие прелести можно встретить лишь в главном городе страны, а уж провинциальные нравы покруче будут.

В российском разгуле главное — задать правильный тон и темп застолью, а это зависит от управителя столом или, по-базарбузучьи, тамады. В нашем случае в питейном заведении люди собрались ушлые, вместе прошедшие и моря водки, и отроги наветов, и зыбучие пески интриг. У всей этой разномастной братии были свои неписаные законы, даже свой дуайен — здоровенный лысый дядька, сыпавший шутками направо и налево и при этом уж пятнадцатый год исполнявший обязанности наместника по Уй-Щегловскому уделу. Ему и было поручено ведение стола. Тосты и здравицы мало чем отличались от обычного чиновного застолья, а после пятой и вовсе перешли в сугубо служебное русло. Так уж у нас заведено — на работе больше говорить об отдыхе и любовных похождениях, а за дружеским столом — о службе да народных чаяни-

ях. Наместники Наместника ничем от собратьев, удобно рассевшихся на всех ветвях государственного древа, не отличались. Здравицы произносились по кругу, но из-за малочисленности компании очень скоро пошли на второй виток, тут и настал час полуправдивых разговоров, к каким Енох особенно прислушивался.

— Господа! Господа! Вы слышали, нашего Воробейчикова вот-вот повысят! — возвестил сипловатым голосом наместник по Усть-Балде Бубницкий, господин правильной наружности, в прошлом жандармский ротмистр.

— В который уж раз? — не без сарказма в голосе отозвался тамада. — У нас что ни день, то пятница! С какой это стати, да и куда?

— В министры обороны вроде прочат...

— Ну уж это враки! Как может быть министром военный человек? Вы только вдумайтесь: министр обороны — генерал! Мы что, воевать с кем собрались, а главное, как на это посмотрит мировое сообщество? Нет, господа, генералам у нас к министерскому креслу в военном ведомстве путь заказан. И я считаю, что это правильно. У военных осмотрительности и гибкости недостаточно...

— Помилуйте, да отчего же так? В новейшей истории есть примеры, когда люди в погонах это министерство возглавляли, — вступил в разговор Енох.

— Милейший Енох Минович, — смачно хрустя огурчиком, нравоучительно произнес Тангайбек, наместник по Обькоманскому уделу, — погоны погонам рознь. Вот возьмите мои или, ска-

жем, Бубницкого, да и любого из здесь сидящих, у нас у всех особые погоны, хотя с виду и похожи на армейские. А все почему? Потому, что мы по другому ведомству, мы имели честь состоять в жандармском корпусе Его Величества тайной канцелярии. К нам и доверие другое, а те немногие, что занимали этот пост в прежние времена, как раз и вышли из нашей голубой, как говорится, шинели или уж по крайней мере исправно с нами сотрудничали.

— Да бросьте вы, господа, все о служебных делах говорить! Извольте новый анекдотец! — вклинился Юнус Маодзедунович.

— Валяй, Юнус, да попошлее, а то развели здесь, понимаешь, военно-кадровый балаган, — подбодрил его граф Лапотко. — За девицами впору посылать, а они все шефа на повышение шлют! Нам что, плохо при нем живется? Нет, и это всяк скажет, так чего тогда каркать? Вот пришлют какого-нибудь дуболома, тогда и запляшем. Давай свой анекдот!

— Было у отца три сына...

— Два умных, а третий русский... — перебил его, похохатывая Тарабарабуриев, наместник по Уйлатайскому уделу.

— Да не перебивай, а то за испорченную песню оштрафую! — прицыкнул на него дуайен.

— Было у отца три сына. Выросли детки. Вывел их отец в чисто поле, дал в руки по стреле каленой и говорит: «Натяните, сыночки, ваши тугие луки, пустите стрелы в разные стороны, где у кого стрела упадет, тот там свою любовь и найдет». Стрельнули

детки, и попал старший среднему в жопу, а младший себе в руку.

Народ дружно засмеялся, и анекдоты пошли косяком. После, с подачи дуайена, завели разговор о неразберихе в представительстве, о ненужности присылаемых оттуда бумаг и запросов.

— Абсолютно вы правы, Казимир Желдорбаевич, — поддержал его Тангай-бек, — главное, что им еще и необходимо отвечать немедленно. А где тут отвечать, коли в уделе света по три-четыре дня не бывает! И как ты заставишь уездного голову и председателя народного каганата ежемесячно ездить на стацсовещания, когда они им, как мертвому ослу припарки?

— А что с него возьмешь, одно слово, вояка! — со вздохом произнес дуайен. — Вот вам, Енох Минович, и подтверждение слов досточтимого Тангай-бека. Был бы Генерал-Наместник из наших, компру бы на всех давно нарыл, как цуцики бы к нему бегали по первому зову. Я-то по первости принес полный расклад: что, где, кто, с кем и как, а он мне: «Это все гадости, Казимир Желдорбаевич, и фискальство, недостойное государственного служащего. Вы это, говорит, бросьте», — а сам-то бумажку забрал — и в стол. Но толку никакого. Небось скучно вам у нас после столиц да заграниц? — без перехода вдруг спросил он у Еноха.

— Отчего же? — разулыбался хозяин застолья. — Весьма забавно и во многом поучительно. Я, правда, не из жандармского корпуса, но понятия об истинной службе имею и накоротке знаком со многими из внешнеполитического департамента ваше-

го ведомства. Поверьте, господа, буду весьма признателен, если вы просветите меня относительно моего удела, уж так полезно все знать, в том числе: кто, с кем и как...

— Сегодня поздновато, народ поднабрался и кроме плясок половецких да срамных девиц ни о чем другом говорить не сможет, а вот завтра с утра вы Юнуса попытайте. Он ваш сосед, да и родня у него в вашем уделе проживает. Он порасскажет, — понизив голос, посоветовал Казимир Желдорбаевич.

— Спасибо, только я было сегодня собрался в ночь восвояси ехать.

— О-о, мил человек! Вы это из головы выкиньте! Ночами у нас неспокойно, ушкуйники пошаливают. Да вас одного и из города не выпустят. А вот и девчонки пожаловали! Эй, бойцы невидимого фронта! Самую красивую — сегодняшнему имениннику, Еноху Миновичу!

Все загалдели. Бросились строить слабо одетых девиц, весело поворачивая их и изгибая в разные стороны.

«Ровно лошадей, — подумал Енох и остановил свой взгляд на миловидной высокой девушке лет тридцати, в простенькой красной кофточке и застиранных джинсах. Длинные рыжие волосы, припухшие от силикона губы, светло-серые глаза, вздернутый носик и настырный, выступающий вперед подбородок. — В городе бы встретил, принял бы за студентку из добропорядочного семейства. Эх, сложна ты, молодая жизнь на бескрайних просторах любезного отечества!»

7.

Костер горел ярко, отчего лунная ночь больше походила на тихий пасмурный день. Казалось, вот-вот окружающая серость разорвется, и сверху хлынет солнечный свет. Но над горами и тайгой мерцали крупные звезды, светила полная луна, мирно потрескивал в огне валежник. Вокруг костра, сторонясь ж*а*ра, сидела небольшая группа вооруженных и вразнобой одетых людей. Огненные блики выхватывали из белесой полутьмы бородатые лица, сверкающие недобрым блеском глаза, стеганые ватные халаты и жилетки; красные язычки пламени причудливо плясали на вороненых, прохладных округлостях ружейных стволов. Над костром в большом закопченном казане кипело какое-то варево. Временами кто-нибудь из молчальников брал в руки большой половник и подливал себе в пиалу бело-мутную жидкость — традиционный для этих мест зеленый чай, варившийся на молоке с добавлением меда, соли, бараньего жира и листьев конопли. Пойло не только экзотическое, но и чрезвычайно сытное.

— И долго мы будем здесь вот так сидеть?

— А над тобой чо, каплет? Сиди вон, чаек присербывай, на лунные красоты любуйся...

— Да пошел ты со своими красотами! Я тебе что, шавка помойная, свистнули — и тута...

— Сар-мэн, ты что это слюни пускаешь? Тя никто не неволит. Вольному — воля!

— Помолчите, резвотварые, счас Макута-бей пожалует, он вам вмиг объяснит, с каковой стороны

дураков дерут, — одернул молодежь грузный мужик, подливая себе чаю. — А ты, Сара Менская, заткни хлебало, раз кликнул бей, знать, стрема стряслась. Он без нуждов стрелки забивать не станет.

— Да я тя счас за Сару, пердло старое, порешу! — выхватывая из-за пояса допотопный пистолет Стечкина, заблажил тот, кого называли Сар-мэном.

— Угомонитесь, придурки! — рявкнул молчавший доселе четвертый разбойник. — Ладно эти щенята тявкают почем зря, а ты, Смит, зачем еще дегтя в кашу подливаешь? Помолчите лучше. Дела-то, видать, серьезные, раз Бей всех собирает.

— Чой-то я здесь *всех* не вижу, — не унимался Сар-мэн.

— А тебе и видеть незачем...

В лесу тихо ржанула лошадь. Разбойники встрепенулись, напряженно, словно волки, повернули свои кудлатые головы в сторону убегающей вниз, к ручью, тропинке. Тихими шелестами и осторожными шорохами молчала ночь, сипло потрескивал костер, казалось, мир вымер, и никого окрест нет. Но натренированные годами скрытной лесной жизни бородачи слышали стук копыт о каменистую землю и даже негромкий, неразборчивый разговор седоков. Вскорости на полянку неторопко выехали всадники.

— Вот вам и Макута-бей, — вставая, произнес Смит.

Конные спешились. Поздоровались. Присели к огню.

— Спасибо, что приехали, знаю, томитесь вопросом зачем. Да и молва, наверное, уже прошла, что я большую ватагу собираю.

— Так куда ей, молве-то, деться? Дошла, вестимо. Ты уж не томи, — подавая атаману пиалушку с чаем, попросил Бурнус. Именно на это прозвище откликался четвертый и, судя по всему, самый авторитетный разбойник.

— Разговор будет долгим. Здесь с наскоку да с кондачка делать ничего нельзя. Слыхивал ли кто из вас о Шамбале?

— Об чем? — поперхнулся Смит.

— О Шамбале. Место такое, по древним преданиям. Человек там счастье обретает, вечную жизнь и великие знания мира. Сначала все думали, что находится оно в Индии, затем — в Гималаях, а вот по самым новым изысканиям оказывается, что затеряно оно где-то рядом с нами, в дебрях Усть-Чулымского удела. — Атаман замолчал и пристальным взглядом обвел окружающих, будто оценивая каждого и принимая решение, следует ли продолжать разговор на эту пока мало понятную для честной компании тему.

— А чо эти знания для меня лично и для счастья человечества дадут? Я что-то, Макута-бей, ни хрена не понимаю! Ты чо, из-за этакой лабуды нас с мест посрывал? Не понял я, — встал на дыбы Сар-мэн.

— Вот я и говорю, может, рядом оно, это место заповедное, может, не раз у лазов его потаенных ходили. Ходить ходили, а увидеть не привелось, — словно не замечая возмущения строптивого ушкуйника, продолжал Бей. — Народ говорит, насельники тайных этих мест могут кому хочешь глаза отвести. Будет перед тобой девка неописуемой красо-

ты стоять, а тебе почудится, будто куст разлапистый. Такие дела! Но это пока что лишь начало. За Шамбалой этой мир гоняется почитай века три. Денег убухали немерено. И Ленин, и Сталин, и Гитлер, и Мао, и Буш, и «Моссад», и наши современники — правители всех времен пытались ее найти. И вот, похоже, вопрос с мертвой точки сдвинулся. Верные люди шепнули: китайцы все разнюхали да мировым вождям и сообщили, а те, при поддержке наших властей, порешили провести в Усть-Чулыме разыскания этих самых лазов потаенных. Дело строжайшей секретности, ежели у кого из вас язык развяжется, лучше ему было на свет не родиться. И в первую очередь это касается тебя. — Макута сноровисто изогнулся и так схватил Сар-мэна за ворот поношенной стеганки, что она затрещала. — Мне давно уже противно твое зловонное дыхание, и кабы не память о твоем родителе... «Чо, тё, тю...» — передразнивая присмиревшего бандита, продолжал атаман. — Родитель в академии учиться посылал, а он, видите ли, не понимает, об чем здеся народ гутарит! Да и не надо тебе понимать! Сделаешь что скажу, а там по результату упрошу Махатм мозги тебе прочистить да разуму прибавить. Говорил я твоему папаше, не лазь на бабу с перепою! Не послушал, теперь вот мучиться.

— Я, Макута, твой в доску...

— Знаю, да других мне и не надобно. Сиди, слушай и помалкивай. Может, еще кто сомневается? Не таитесь, сказывайте, что у кого на душе скребет.

В ответ только трещал костер, фыркали кони да негромко сопели бородачи.

— Люди мы, конечно, лихие. И славных дел за каждым из нас не на одну каторгу, но мы же не солдатня с большой дороги. Мы не ханьцы, не уйгузы кровожадные. Мы дети каторги, потому как в места наши во все времена за ослушание и крамолу ссылали. Такая уж юдоля. Я к чему это все гутарю? Не будь мы плоть от плоти народными терпельцами, давно от нас и пыли бы не осталось. Люди нас породили, и только с последним из них мы иссякнем, а доколе будут рожать бабы в уделах наших, будет жить и вольный лихой народ, кому всяка неволя в обузу. И никак не можем мы пропасть и раствориться в лесах, попрятаться, ровно холопы Августейшего Демократа, за спины убогих, сирых да обездоленных, потому как, может, мы — последняя опора народная. Мы да, может, еще поп Шамиль, который уже двенадцатый год бьется за недопущение воссоединения с нами этих базарных редисочников. Пусть они дома, на своей кавказской лаврушке жиреют. У нас такого добра валом. Вот и выходит, не должны мы допустить разграбления древних святынь. Никто ведь и знать не знает, что там за силища сокрыта, а главное, какова она. А ну как достанется она узкопленочным каким или, того хуже, Семерке той великолепной, вот тогда все попляшем! Есть у меня, братья, план...

Разбойники сдвинулись поближе друг к другу и обратились в слух, страшась пропустить хотя бы одно Макутино слово.

Луна уже начала гаснуть. Длинные тени деревьев постепенно слились в темное месиво предрассветного сумерка. Тишина распростерлась над страной, изломанной, сказочной и от века несчастной.

8.

А где-то неподалеку горел другой костер и велись совсем иные разговоры.

Под невысоким таежным утесом, который огибала быстрая прозрачная речушка, на обкатанных водой камнях горел яркий костер. Вкруг сидели полтора десятка мужиков. Место это было давно облюбовано ими для своих потаенных надобностей. Рукотворные прилады, размещенные полукругом у небольшой скалы, больше напоминали подкову зрительного зала, чем место привала охотников или собирателей диких трав. Никаких навесов и лежбищ не было и в помине. Голая, почти отвесная скала, поросшая сверху утопающим во мху кустарником, словно преграждала путь вековому кедровому лесу, что неторопливо, полого сбегал по распадку к реке, а здесь, наткнувшись на вздыбленный камень, притормозил, да так и застыл, вцепившись корнями в каменистую почву предгорья. У подножия скалы лежал обломок отполированного ветрами и водой полутораобхватного листвяка, перед ним из больших плоских камней была выложена ровная площадка, по бокам которой кто-то загодя умело сложил две конические кучи сухого валежника. Далее лежали такие же выбеленные паводками и временем деревья. Импровизированный театр был пуст, будущие зрители сидели рядком, грели руки у костра и вели негромкую беседу.

До чего же хороша таежная ночь при полной луне! Ни ветерка, ни громкого звука, лишь чуть слышно плещется река на небольших перекатах,

ровно гудит комарье, кряхтят деревья, скользят неясные тени ночных птах, да слышатся временами странные шорохи. А запахи какие здесь буйствуют! Каждая травинка, каждый кусток, каждое деревце, каждый камешек, каждая снующая туда-сюда секарашка, каждый паучок источают свой неповторимый аромат жизни, и все это, смешиваясь с духом потревоженной человеком или зверем земли, обретает некую мистическую силу, в которую хочется окунуться как в теплую предрассветную реку, чтобы смыть с себя годами копившийся смрад городской нежити! Так, наверное, пахнет само естество: терпко, пряно, сладко, неописуемо.

Оставаясь незамеченными, на источающий тайну берег внимательно смотрели две пары любопытных глаз. Еще по дороге, пробираясь сквозь пугающие своей непроходимостью и дикостью чащобы, девушки внимательно слушали наставления проводника, который держался с достоинством бывалого таежника, но особенно не задавался и не подтрунивал над их глупыми вопросами.

— Чтобы там, на камне, ни гу-гу, — поучал их Юнька, — даже и руками поменьше махать! Главное не пугаться, а чтобы какая-нибудь букашка-секарашка куда не след не заползла, бечевкой запястья обвяжите да носки на штанины натяните, их тоже, кстати, можно обвязать для надежности. Одним словом, как лазутчики...

— Иде ж тут полазишь, когда все веревками поскручено, — попыталась было хихикнуть Даша.

— Накомарники наденьте и молчки, — не обращая внимания на подругу, продолжал юноша. —

Внизу люди будут дошлые, не один десяток годков по тайге ходившие, они не то что шорох — вздох нечаянный и тот учуют. Вы как, барынька, не дрейфите? — обратился он к Машеньке.

— Боязно немного, но так здорово! Вы не сомневайтесь, не подведу, я же местная, не впервой в тайгу ночью ходить, правда, поотвыкла малость...

Осторожный Юнька сделал приличный крюк, подвел девушек с подветреной стороны, сам определил место лежки и, поправляя за собой слегка порушенный мох, беззвучно растворился в обманчивом лунном свете.

Маша лежала, превратившись в слух и только изредка поглядывая вниз, на небольшую речную пойму. Она видела, как минут через двадцать к мужикам подошел Юнь, поздоровался со всеми за руку, присел с краю и уставился на костер, будто его ничто на свете не интересовало, кроме этих небыстрых, розоватых сполохов идущего на убыль огня. Народ все прибывал: по одному, по двое, малыми группками. Тихие голоса внизу заглушались монотонным комариным гулом, который, как липкая вата, обволакивал все вокруг, давил на психику, до зубной боли напрягая нервы. Всякий, кому приходилось по добру или неволе блуждать по летней тайге, знаком с этим мучительством.

Прошло не менее получаса. Мягкий упругий мох, проворно ощупав девичьи тела, услужливо выстлал под ними уютные лежанки, выдавил из своих глубин затейливые ароматы и предательски бросил в неспешное наступление целые полчища сладких, проворных соников. Веки моментально

набухли преддверием крепкого здорового сна, который всегда случается на свежем воздухе с утомленными ходьбой и эмоциями молодыми девицами. И вскоре искательницы приключений мирно погрузились бы в безмятежный сон, не произойди у поворота реки некое движение. Из невесть откуда взявшегося тумана прямо на собравшихся, подгоняемая быстрым течением, неожиданно вынырнула приличных размеров лодка. Судя по покатым бортам и высокому носу, судно не могло плыть по нынешнему мелководью горной речушки. Но лодка не только плыла, она быстро скользила по неспокойной воде, как невесомая щепка, и наконец, громко заскрипев галькой, взрывая ее до темного от влаги песка, по-рыбьи выпрыгнула на берег. Белесый туман, окутывавший странное судно, вдруг опал, обесцветился и проворно отхлынул к покрытой звериными шкурами корме. Сон в мгновение ока улетучился. Восхищенно глянув друг на дружку, девушки, каждая гордясь собой, дескать, не проспала, обратились в слух и зрение.

А внизу разворачивались, по всей видимости, знакомые многим из пришедших ритуальные действия. Мужики, проворно вскочив, выстроились друг против друга в две нестройные шеренги, образовав живой коридор от реки к скале. Пока они строились, легкими пинками загоняя в строй новичков, из таинственной ладьи на берег сноровисто выпрыгнули три высоченные девы. При нынешней сколиозности, мелкоте и убогости подавляющего большинства женского населения бывшей России, а особенно Европы, за последние десяти-

летия изрядно поуродованного модой на беспорядочно смешанные браки с азиатско-африканской доминантой, таежные дивы были буквально ожившими персонажами народных преданий. Под два метра ростом, с покатыми плечами, широкими бедрами, четко выраженной талией, высокой грудью, тонкой шеей, они двигались непривычно ладно и свободно. Из одежды на них были недлинные тонкого полотна сарафаны в тон почти пепельного цвета волосам. Обхваченные на голове тонкими матерчатыми поясками эти светлые пряди падали вниз, стекали по спине и причудливо поблескивали в лунном свете на тугих ягодицах. Черты лица, цвет глаз из-за белесости освещения и приличного расстояния рассмотреть было невозможно. Пришелицы вежливо поклонились и, споро подтянув ладью глубже на берег, опустились на колени; вслед за ними преклонили колена и сельчане. Из лодки, опираясь на длинную, отполированную веками палку, на берег сошел высокий худой старик в длинных одеждах. Непокрытая голова белела гордо и властно, седые волосы лежали на плечах, а окладистая борода, как серебряная кольчуга, поблескивала на груди. В полном молчании старец, а за ним и девы, проследовали к бревну, уложенному у скалы. Странным образом ствол кедра оказался покрыт шкурой огромного барса, которых в здешних местах повыбили лет сто назад. Старик внимательно осмотрел присутствующих, поклонился и подал знак встать с колен. Не проронив ни слова, все расселись в своем амфитеатре и, словно загипнотизированные, с нескрываемым интересом замерли пе-

ред гостем, ради которого здесь собрались и которого так долго ждали.

В Машеньке причудливо смешались непохожие, а порой и вовсе противоречащие друг другу ощущения. Трепет восторга непостижимым образом перемежался приступами животного страха, а ненасытное любопытство влекло испуганную душу в неизведанные, дышащие бездной пределы. Глядя на странного старца, ей хотелось и беспредельной свободы, и бессловесного смирения. Возможно, нечто подобное испытывают последователи модных сект, проповедующих культ маленького серенького грибка, когда-то в изобилии росшего в северных районах края. Маша сама не отважилась приобщиться к великому таинству поедания хлипкого тела божьего, зато запоем читала книги великого учителя Пель-Пелев-Грибоеда, хотя, честно говоря, узнать, каково это быть «бесполой и похотливой лисой» ей без грибного варева не удалось. Но здесь-то происходили странности и без Пель-Пелевских грибочков.

Прибывшие со старцем девы установили возле куч хвороста небольшие желтого металла чаши, он поколдовал над ними, и сизый, почти прозрачный дым заструился вверх, наполняя окрестности пряным ароматом нездешних трав. Тут старик поднял правую руку и заговорил. Чудный, совсем не старческий голос разлился в напоенном тишиной водухе.

— Дети великого бога, смелые и прекрасные духом и телом, к вам слово мое! Тысячи лет течет время на нашей земле, тысячи лет мы задаем себе один и тот же вопрос: «Кто мы?» — и тысячи лет не по-

лучаем ответа. Но было время, когда никто не задавал этого вопроса, ибо каждый знал, кто он, для кого горит священный огонь жертвенника и ради чего бьется его сердце... — Старец говорил тихо, но каждое слово звучало отчетливо и громко, словно он сидел не далеко внизу, а находился совсем рядом. — И не было ни богатых, ни бедных, ни сильных, ни слабых, ни господ, ни рабов... Да, дети мои, не удивляйтесь, было такое время, когда все люди великого белого племени знали, что они дети единого Бога и от прародителей своих — сами боги и равные в силе своей богам. Однако и в родниковой воде бывает муть. И помрачились некоторые из достойных. И чрезмерная жажда познаний, дающая силу духу, воспламенила гордыней сердца, в которых свили гнездо отчаянье и страх потери земного бессмертия. Прошли века, и сам человек погасил священный огонь, забыл, кто он, и сделался через это иным. Прошли века, и сорная трава выросла на камнях святилищ, пришли корыстолюбивые и от рождения напоенные ложью люди и сказали, что они — свет истины. Но и не свет принесли они, а рабство, ибо сами были рабами и иного не знали...

И вдруг в эту минуту раздался леденящий душу свист, и тишину разодрал безобразный грохот выстрелов. Откуда-то сбоку на низкорослых, лохматых лошадях к костру вылетели всадники. Сидевшие полукругом люди в ужасе повскакали с мест. Маша негромко вскрикнула от испуга и тут же почувствовала, как что-то живое и тяжелое прыгнуло ей на спину. Девушка не успела опомниться, как

оказалась связанной и с вонючим кляпом во рту бессильно трепетала на слежанном мху, словно выброшенная на берег рыба. Рядом, зверски выпучив глаза, извивалась, брыкалась и не давала связать себя Даша.

Маша отвела лицо от стоптанного самодельного сапога, месившего рядом мох. Человека она не видела, лишь сапоги и продранные в разных местах портки: выше поднять голову мешала грубая веревка, больно впившаяся в шею. Взгляд несчастной девушки скользнул мимо утеса, ужас сковал и без того перепуганное девичье сердечко. Легкая дымка, клубившаяся над священными сосудами, постепенно застилала округу. В лунном свете она казалась кисеей, под которой метались лошади, орали и матерились, сталкиваясь друг с другом, всадники. Таинственного старика, его спутниц и слушателей, которые все еще оставались на своих местах, бандиты не видели, словно их и не было. Вернее, были, конечно, но не как живые люди, а как слабые, едва различимые тени. Тени людей, бревен, старика, его лодки... И только головни дотлевающего костра чадили у самой воды.

— Где они, где? — орал, крутясь на своей лошаденке один из разбойников.

Их кони проскакивали сквозь смутные очертания людей, как сквозь клочья тумана, не причиняя им никакого вреда.

— Да нетуть здеся никого, атаман! — верещал колченогий бандит, уже спешившийся и шевелящий шашкой угли. — А видать, были, кострына эщо и не сгасший.

— «Нетуть, нетуть», — передразнил его детина на рябой кобыле. — Чо, у мени глаза ослепли, штоль? Я их потроха здесь видел. — И он пальнул из большого пистолета в сторону скалы. — Тут ихний вожак сидел, здоровый такой, и девки стояли, а перед ними мужичье местное мудями трясло. Чо встали, ищите, суки!

— Сар-мэн, Сар-мэн! — угомонив наконец Дашу, взревел коротконогий, китайского вида мужик. — Мы здеся двух бабцов зацапали. Красивыя, однако.

— Волоки сюды! — манул рукой главный.

И тут стряслось полное замешательство. Бандитские кони заржали и стали шарахаться друг от друга, некоторые седоки, не удержавшись в седле, полетели наземь, под копыта взбесившихся животных. Прозрачная дымка заволновалась и стала превращаться в настоящий непроницаемый туман, клубящийся, танцующий, который обволакивал разбойников и словно всасывал в себя.

— Все из тумана, из тумана, суки! — заорал вожак и пришпорил коня. — Девок в берлогу, в берлогу увози! — вылетев из предательского марева, вопил он опешившему от увиденного бандиту.

Из десятка конников на чистое, залитое невинным лунным светом место вырвалось человек пять. Отдышавшись и успокоив коней, они с ужасом глядели на живое косматое нечто, клубившееся у скалы. У самой земли, где между туманом и уже росной травой была неширокая, сантиметров тридцать, щель, что-то отчаянно трепыхалось. Атаман соскочил с лошади и, припав к земле, пополз к это-

му дышащему опасностью просвету. Зажатый в руке здоровенный сухой сук, который он где-то подобрал, выглядел смешным и беспомощным, как хворостина против медведя.

— Сар-мэн, Сар-мэн! — запричитали бандиты, пятясь на своих лошадях подальше от этой чертовщины. — Ты что, совсем сдурел? Назад!!

Однако главарь уже подполз к самой кромке белесого мрака, размахнувшись, воткнул сук в бултыхающееся месиво и тут же почувствовал, как кто-то с силой ухватился за палку. Тогда он резко дернул ее на себя, и в подлунный мир вылетел, весь опутанный белыми, на глазах тающими нитями, колченогий бандит, минуту назад ворошивший угасающее кострище. Бедолагу душил кашель, лицо его было словно измазано мелом.

Сар-мэн повалился на спину, со злостью глядя на этот непонятный туман, который не только отнял у него добычу, но и, скорее всего, погубил нескольких его людей. Страха не было, только злость и досада. И вдруг в эту секунду марево словно расступилось, из него вынырнула высокая статная женщина, остановилась на границе своего мира и жестом, полным страсти, поманила его к себе. Словно какая-то неведомая сила потащила атамана вперед, в страшную, обещающую наслаждение бездну. Он закрыл глаза, словно во сне, поднялся на ноги и сделал первый шаг. А в голове вдруг зазвучал голос Макуты-бея, с которым он и другие предводители разбойников недавно расстались: «...Это страшное и тайное место, его бояться надо, там всякие заморочки могут быть... Шамбалка, Шамбалка...»

— Шамбалка, — произнес Сар-мэн вслух и, очнувшись, увидел, что стоит у самой стены клубящегося тумана, готового втащить его в свое ненасытное чрево. — Шамбала! — туман слегка отпрянул и замер, а атаман начал осторожно пятиться.

— Все! Быстрее! Быстрее домой! — почему-то шепотом заорал на бандитов Сар-мэн. — Таракана везти по очереди! — Он с опаской глянул на спасенного сотоварища, потом на туман. — Все, быстрее, говорю! — поторопил перепуганных нукеров вожак и первым рванул вверх по каменистой тропинке, еще не окутанной белобрысым туманом.

9.

Енох Минович не послушал совета своих разгулявшихся коллег. Забрав с собой показавшуюся ему похожей на студентку проститутку и растолкав уже заснувшего Берию, он велел ехать домой.

— Шеф, мое дело маленькое, я, конечно, отвезть могу, мне не боязно, я уже раза два у разбойников в плену прохлаждался, только вы уж письменно напишите, что сами приказали мне ехати, а письмишко кому-нибудь из своих коллегов оставьте...

— Это еще с какой стати? Тебе что, хамло, недостаточно устного приказания? До чего же в вас эту казенщину вбили, формалист поганый! — наместник Наместника слегка покачивался. Хмель, как и во все времена, делал свою извечную работу — представлял истинное нутро человека, надежно скрываемое от посторонних глаз трезвыми прили-

чиями. — И ты, что ли, боишься? — обратился Енох к стоящей рядом девице. — Как тебя, кстати, звать-величать?

— Боюсь я только без предохранительного щитка клиентов впускать, а зовусь Эрмитадорой Гопс! — приятным голосом произнесла девушка, с любопытством рассматривая нового клиента-ухажера. — Ты, видать, или придурок, или уж больно отчаянный! А мужику бумажку напиши, положено так. Что до меня, так я отчаянных люблю, сама такая, так что не прогадал ты, выбрав меня, — добавила жрица свободы профессионально-игривым тоном.

Не успел Енох ответить, как Берия молча положил на капот машины ключи и кожаный мешочек с документами.

— Вы это уж... тогда без меня и поезжайте, коли писать приказ не будете!

— Что?! — взревел Енох. — Да я тебя в бараний рог согну, скотина, ты у меня с каторги не вылезешь! Кому перечить вздумал?!

— Енох Минович! Енох Минович! Погодите-ка водилу турзучить! — бежал к ним от крыльца запыхавшийся Иванов. — Вот бумажица гербовая и текстик уже набранный, шаблончик, так сказать. Вы только фамилию своего строптивца впишите, удостоверьте росписью и личной печатью. Ничего не поделаешь, формальность! Строжайший запрет с самого верху: все ночные поездки только с письменного приказа. Это одна сторона, так сказать, а другая — ежели вы угодите в лапы к супостатам, водитель будет выкуплен за ваш кошт, а не за государевы, так сказать, денежки.

Такие дела! Пишите, пишите, другого пути все одно нет. Помилуйте, любезный, вы еще и девицу решили с собой прихватить? — добавил Маодзедунович, всплеснув руками.

— Ну, хотелось бы, а то скучновато у нас в деревне...

— Тогда ее тоже надо вписать в подорожную и оставить бумагу на заградительном посту, при выезде из града. — И, бесцеремонно хлопнув жрицу по аппетитному месту, которым завершаются ноги, спросил: — Зовут-то тебя как, чадо мое угоревшее? Добровольно ли на сие безрассудство идешь?

— Добровольно и по обоюдному согласию. А имя у нее весьма поэтичное — Эрмитадора Гопс, — ответил за девицу Енох. — Кстати, уж не приходитесь ли родней барону Альберту Остаповичу Гопс-Шумейко?

— В некотором смысле дочь...

— Вот это дела! — присвистнул Енох. — Да как же это угораздило тебя, баронессу, и в публичные девки?! Возможно ли?

— Какие мы все чистенькие! Протестую, в нашей демимперии всякий труд почетен, так что я вполне могу пожаловаться, и спуску тебе не будет, не глядя на ранги и заслуги. Не для того мы демократию заводили, чтобы любой и всякий мог издеваться над честными работопроизводителями.

— Да-с, тут девица права, — чему-то обрадовался Юнус Маодзедунович.

— Достали вы меня своей правотой! — разозлился Енох. — Давай, вписывай себя и эту блядонессу в бумагу да поехали! — махнул он водителю. —

Я только еще по маленькой с коллегами пропущу. Гопс, за старшего и отвечаешь за экипировку экипажа!

— Щассс! — послышался звонкий ответ, что, по всей видимости, должно было означать: «Слушаюсь, сэр!»

Проводов отчаянного смельчака не получилось, народ в основном пыхтел и охал по отдельным кабинетам, и только самые стойкие «небабники» сгрудились у растерзанного ненасытными желудками праздничного стола.

— Итак, господа! — скорбно и торжественно начал, поправляя широкие офицерские подтяжки, Казимир Желдарбаевич. — Прошу отметить необычность этого веселого и печального события...

— Казик, — прозвучал капризный женский голос, и полог одной из выходящих в зал кабинок распахнулся, представив общему взору обнаженную девицу, — мне холодно, скучно, и вообще я хочу к тебе! — нимало не смущаясь собственной наготы, грудным голосом произнесла жрица свободы, как в последнее время, согласно высочайшему меморандуму, было велено именовать представительниц самой древней профессии.

— Гюльчатайка, проказница, сгинь с глаз честной компании! Что, не видишь, у нас печальные проводы, можно сказать, боевого товарища в плен к злым бандюганам.

— О, Всевышний! Простите, господа, я сейчас! — Дева метнулась в пещеру разврата и буквально через мгновение вынырнула в залу в траурном одеянии, состоящем из черного хиджаба и тонкого

черного шнурка вокруг тронутой полнотой талии. — Я готова скорбеть с вами, со всеми вместе — или с каждым в отдельности.

Бубницкий хотел было что-то сказать, но его остановил Тангай-Бек, человек замордованный собственным гаремом, а потому на женскую половину человечества вне стен своего дома глядевший не только без вожделения, но и с явно выраженным безразличием.

— Пусть ее тело будет как поминальная свеча нашей скорби.

— Минуточку, господа, — вмешался в разговор Енох. — Что все это значит? Вы что это, хоронить меня собрались?

— Ну зачем же так, любезнейший коллега, — полез к нему с пьяным поцелуем Тангай-Бек. — Не дураки у нас здесь по округе рыскают, зачем тебя убивать, за тебя выкуп хороший можно получить или продать куда, а ты сразу — хоронить!

Еноху, надо признаться, не совсем хорошо сделалось да и ехать расхотелось, но отменить поездку было уже невозможно — труса он никогда не праздновал.

— Енох Минович, не огорчайся, ежели тебя зацапают хакосы, говори, что ты мой друг, — заметив смущение Понт-Колотийского, хлопнул его по плечу Бек. — И, считай, приличный прием обеспечен...

— А если люди Макуты-бея — отдайте-с вот это рекомендательное письмо-с, — протягивая клочок бумаги, как бы извиняясь, сказал Юнус Маодзедунович. — В его бандах много людей из наших уделов, даже родня моя кое-какая имеется.

— Командир! Какого хрена мы здесь торчим? Луна уже скоро на закат упрет!

Высокое собрание вместе со «скорбной свечой» повернулось к входу. На пороге стояла Эрмитадора Гопс в полуоткрытом, облегающем ее недурную фигуру камуфляжном комбинезоне, с помповым ружьем в руках.

Все, включая саму Гопс, дружно заржали и, прихватив бутылки, подались вон.

Улицы уснувшей столицы окуема жили своей ночной жизнью, и чтобы ее описать, надо на этих улицах родиться, прожить и состариться, хотя до старости уличные обитатели доживают редко. Объезжая спящих прямо на проезжей части верблюдов и погонщиков, временами отбиваясь от подвыпивших, с пустыми карманами и желудками жриц свободы, они без особых приключений выбрались из города и, уладив все формальности со стражами городских врат, вскоре уже тряслись по укатанной лунным светом дороге.

Пока Енох и Гопс с диким сопением и другими замысловатыми звуками удовлетворяли друг друга на заднем сиденье, Берия с тоской думал о своей незавидной доле господского водилы. Куда ни поверни эту долю, все в ней как-то не так, а оттого тяжелая зависть всплывала в его душе, как дохлая вонючая рыбина. Вечно недовольного всем и вся, его грела, пожалуй, лишь одна мысль — он в точности знал, чем закончится их сегодняшняя езда. Берию беспокоило одно: каким еще бандитам городские стражники продали информацию об их безрассуд-

стве. Поэтому проехав километров сто пятьдесят относительно спокойно и лишь раза два стрельнув по какой-то придорожной шпане, он свернул с основной дороги Е-52 на хорошо укатанный проселок, по нему до родного удела было намного короче, да и уверенность была, что чужие не отберут обещанного ему барыша. А что делать, всяк выживает как умеет! Родной дядя Берии подрабатывал ночами в банде Сар-мэна, человека вспыльчивого и скорого на расправу, но потомственного, известного своей смелостью атамана. Берия уговорился с родичем, что выведет машину к Рябому яру.

— Минович, ты смотри, возница катит твое высокопревосходительство прямо в банду, уже и с дорожки свернул! — подала голос Эрмитадора.

«Вот сука, погодь, доедем до места, я тебя на халявку попользую!» — разозлился Берия, а вслух сказал:

— Ты это, языком в правильном направлении работай, а я уж как-нибудь с дорогой сам разберусь. С энтого свертка до дому, Енох Минович, километров на тридцать ближе, да и Бурчал-урочище минем, где хакосы всяку ночь шьются, а далее, километров через пятьдесят, на Каменистой гряде сидят узкоглазые уйсуры! Вы ее не слухайте, еще не ведомо, на кого она всамделешно пашет.

— Берия! Прекратить в подобном тоне говорить о женщине, тем более баронессе! — незло одернул Енох подчиненного. — Эрми, голуба, может, ты и в самом деле сдала нас каким-нибудь ушкуйникам, а?

— Не, я не по этой части, — вывесив голые ноги в окно и прихлебывая из бутылки, беззаботно отве-

тила девица. — Гопс-Шумейко никогда ни на кого не стучали, разве что по велению сердца. Смотри, какая ночь, в такую ночь и в плен сдаваться не страшно...

— А почему это? — с ленцой и явно засыпая, спросил Енох.

— А мы уже все в плену этой всесильной луны. Енох, ты слышал, в твоем уделе какой-то старец объявился, вещает о старых богах... А, Енох?

Но удовлетворенный искатель титулов безмятежно засопел, и ему приснился все тот же странный сон, который так неожиданно свалился на него прямо посреди совещания.

10.

Заседание ложи «Северная маслина южно-шанхайского ритуала» было объявлено открытым. Едва отзвучал стук молотка мастера, как на небольшую кафедру, украшенную человеческим черепом и бархатным платом с державным гербом, двуглавым медведем и традиционной братской символикой, взошел Генерал-Наместник. Одет он был по-смешному: в допотопные розовые панталоны, высокие белые чулки и расшитый золотом камзол, на шее болтался обрывок украшенной бриллиантами веревки, а ноги были обуты в старинные башмаки, востребованные им из местного музея декабристов исключительно ради сохранения преемственности.

К слову сказать, и остальные братья обряжены были под стать докладчику, но каждый имел хоть

малую, а все же отличность. Так, скажем, у Воробейчикова, при всей смехотворности его музейного одеяния, к братскому фартуку были приторочены орденские планки, у мастера ложи на веревочной петле, своеобразном прообразе нашего галстука, висели, словно тля на стебельке сочной травинки, миниатюрные панагии, наперсные кресты и херувимы, у окружного прокурора была своя символика, у жандармов — своя, и так далее. Только у одного брата подол был девственно чист, изображение песьей головы и метлы, кои в свое время носили опричники, были потаенно вытатуированы на внутренних сторонах ягодиц, а в повседневной жизни он работал обычным аптекарем и для всеобщего приличия носил в петлице маленькое изображение увитой змеями чаши.

— Братья! Чрезвычаен случай, спешно собравший нас на это собрание. Многим пришлось претерпеть значительные стеснения и неудобства, но дух нашего братства, — оратор торжественно положил руку на череп, отчего тот засиял изнутри алым светом, — всепобеждающ и свят. Возможно, поэтому Августейший Демократ, кормилец и духовный наш магистр, не по официальным каналам, а по шляху братства разослал свою волю, а так как вы, почитай, все, за исключением досточтимого брата аптекаря, еще являетесь и верными солдатами нашего Отца, будем считать наше наисекретнейшее совещание открытым! — На последних словах голос Генерал-Наместника обрел металлическое звучание. — По неким тайным каналам Высочайшему и Августейшему Демократу стало известно, что мир

наш, грубый и необразованный, стоит на грани несусветных потрясений, а главное, что весь незыблемый миропорядок может в одночасье рухнуть!

Ропот не то испуга, не то возмущения прокатился по залу. Высокое собрание, словно голодная стая волков, пялило взгляды на вожака-докладчика, вмиг прекратив шушукаться. По всему нынешнему свету не то что действия, но даже сама мысль о каких бы то ни было разрушениях привычного миропорядка являлась страшной крамолой и влекла за собой самые жесткие санкции Всевышних кураторов мира.

При этом санкции применялись не против какого-то проштрафившегося района или городка, а против всего населения «зоны», «сектора», «окуема/округа» или иной территории проживания, в которые окуклились к двадцатым годам двадцать первого века некогда независимые и гордые государства Европы и Америки. Африка давно превратилась в полудикую пустыню, населенную лишь зверьем и бандитами. Редкие островки цивилизации теплились только на различных промыслах, шахтах и буровых, однако люди там постоянно не жили, а работали вахтовым методом. Такие же вахты были и в некогда богатейшей Сибири, пока китайцы под предлогом вечной и нерушимой дружбы не умыкнули и Дальний Восток, и почти всю Восточную Сибирь. Что случилось с Индией и прочими Океаниями и Австралиями мир попросту не знал, а скорее всего, и не хотел знать. Может, их уже и не было, а может, они, напротив, были обезлюжены и законсервированы для потребностей бу-

дущих поколений золотого миллиарда, кто отважится сказать?

Таким было нерушимое мироустройство, и любые помыслы, не говоря о действиях, по его изменению нещадно карались. Кастрация мужского населения была легким испугом: как правило, крамольное место выжигалось начисто вместе со всем имуществом и людом, исключений ни для кого не делалось, включая высших руководителей и членов их кланов. Так, кстати, поступили с двумя зонами на Балканах, одной в Ханьщине, четырьмя в Афроюсии и где-то еще. А относительно недавно собирались извести и нынешнюю столицу Сибруссии Москву — только за то, что тайные последователи Дионисия Козела, предательски рядившиеся под братскую ложу, решили на толику усомниться в правомерности муниципальных преобразований, некогда ими же проведенных.

Четверо суток заседала Всемирная Великолепная Семерка, и только благодаря ловкости и значительным территориальным уступкам нашего Преемника, который входит в Семерку на правах полувосьмого и допущен разносить Кураторам чай во время заседаний, столицу удалось отстоять. Конечно, с последователей Козела содрали по семь шкур, а так как у человека шкура всего одна, недостающих шесть драли с ближайшей родни. Прошерстили почти все братские ложи, вот уж где народ страху натерпелся! Ведь без обязательного членства хотя бы в госложе «Единство» уже лет тридцать как перестали брать на работу в госучреждения, а образование, начиная со среднего, не давали и чаще

других налагали удвоенную «трубную повинность» на всенародных газовых промыслах. Чистки еще шли полным ходом, но и этого Верховным правителям показалось мало, и они для всеобщего назидания высочайше повелели снести высоченные Кремлевские стены и обнести эту цитадель власти зубастым кирпичным забором в метр двадцать высотой. А во всех туалетах заставили поснимать дверцы, дабы было видно, чем там чиновный и иной прочий народ занимается. Вот такой страх — и все за одни лишь помыслы! Слава Богу, не пожгли еще! А что, весь свет должен видеть, как мировое свободолюбие умеет отстаивать свои либеральные завоевания!

И вдруг сам Генерал-Наместник заговорил о возможности разрушения устоев! Публика замерла, тишина стояла гробовая, лишь тикали зловеще большие каминные часы.

— Братья! — оставшись доволен реакцией зала, продолжил генерал. — Час пробил, и взоры всего просвещенного света обращены к нашему окуему! Доподлинно установлено, что некая доселе всеми искомая Шамбала находится в его пределах и уже готова вскрыться. Высочайшим Самодержным Демократом, его величеством Преемником Седьмым — да не оставят всяки боги его своей милостью! — принято решение о поисках сего объекта и его охраны до прихода основных сил Миролюбцев! Вы понимаете всю ответственность? Вслух даже страшно и произносить... — Наместник действительно перешел на шепот, а сидящие в зале подались вперед, словно морская волна к берегу. — Не

исключено, что и сама Великолепная Семерка Мира может пожаловать в наше захолустье для личного, так сказать, инспектирования! — Зал в ужасе охнул. — Вы, надеюсь, понимаете, господа, какова ответственность! А?!

Зал молчал, только по-прежнему зловеще тикали часы.

— А что это еще за такая Шамбала? Я лично об таковой и не осведомлен. И главное, что искать-то? Окуем-то наш на старые мерки с добрую Объевру будет! — всплеснул руками брат-прокурор.

— Господи святы! — крестился, забыв о приличиях, мастер ложи. В иное время за подобное махание перстами он запросто мог поплатиться стулом мастера, братьям всех ритуалов еще издревле была запрещена всякая открытая религиозность. Исторически доказано, что все в нашем мире сотворено великим Архитектором, а всевозможные боги и божки к этому не имеют никакого касательства. От Архитектора, кстати, и ведут свою духовную родословную Всевысочайшие Кураторы и, как в последнее время доподлинно определено учеными, наши отечественные Преемники.

— Да что же это за напасть такая! — продолжил свои причитания божий слуга. — Не зря я так не люблю всю эту вздыбившуюся землю, эти горы проклятущие! Да и в божьем мире разве что когда к добру вздыбливалось? Нет, господа, все это срам, все ко злу да распутству! Чуяла душа, грядет нечто непотребное и опасное для благочестивых людей наших!..

— Что же предлагает досточтимый мастер? Ожидать неминуемого конца света? Так вы его нам уже

третью тысячу лет обещаете, — по-лисьи, с явным ехидством спросил брат аптекарь.

— Ни в коем разе, досточтимые единомышленники! — категорически парировал хранитель мастерского стула. — Наша наипервейшая задача — учинить самое полное разыскательство и о результатах немедленно доносить его высокодемократичности Генерал-Наместнику. Мне прихожане посредством исповеди давно сигнализируют, что в Чулымском уделе странники объявились, народ будоражат, супротив утвержденных Курултаем конфессий агитируют, мерзости о равенстве всех людей глаголют. Анафема, одним словом, и измена!

— Братья! Завываниями и галдежом, — словно не слыша слов князя свободы совести, зарокотал Наместник столицы, — мы с задачей не совладаем! А посему слушайте боевой приказ: без особой торопливости и главное, блюдя все в тайне, каждый из вас должен собрать уже имеющиеся слухи, сказки, притчи и прочую небыль, бытующую в окуеме об этой Шамбале, и срочно представить в мою канцелярию. Людей, кои небылицы измышляют и вредносно укореняют в несознательных головах, какого бы роду-звания ни были, подвергнуть арестованию и препроводить в казематы свободы и справедливости. Снестись по сему вопросу со своими людьми в бандах, эти бестии многое могут поведать. Объявить об увеличении вознаграждения за поимку супостата Макуты-бея, и еще: ничего, ни под каким видом, ни за какие деньги не передавать ханьцам, которые и углядели следы этой самой Шамбалы в наших горах. За работу, други мои! — и

он мигом махнул поднесенный ему мажордомом лафитничек анисовой водки.

— Господин Генерал-Наместник! — послышались возгласы.

— К порядку, братья! — стукнул молотком мастер ложи. — Прошу не забываться, что в этих стенах нет ни господ, ни чинов! Мы братья друг другу! Любезный брат скотопромышленник, — обратился председательствующий к более других суетящемуся тучному человеку, — явите нам свой вопрос.

— Досточтимый брат мастер! Извиняюсь я великодушно, но господин Генерал-Наместник, отец наш, заступник, — заголосил, пытаясь побороть волнение, богатейший человек окуема, — будьте любезны, не побрезгуйте общением с темнотой институтской, просвети ты нас, Архитектора ради, что такое эта самая Шамбала?

— Да! Да! — раздались со всех сторон возгласы поддержки.

— Доподлинно сего никто толком не знает. Однако разыскивают сие потаенное место уже весьма продолжительное время, полтысячи лет, а может, и более. Что в нем сокрыто, тоже полнейшая тайна, одни говорят, дескать, это хранилище великих знаний, другие — что где-то глубоко в пещерах спят старые боги и ждут своего часа, чтобы восстать и за все спросить с ныне живущих. Словом, сие есть тайная пещера, в которой находится неведомо что...

— Глядите мне, чтобы без спросу туда никто не вздумал соваться! — грозно хряснул молотком мастер. — Иначе прокляну, анафеме предам!

— Мы тоже проклянем! — повскакивали со своих мест муфтий, раввин, какой-то женоподобный ксендз и еще с полдесятка служителей мелких культов.

— Вот с таким похвальным единодушием мы и должны действовать. И язык за зубами держать, — подвел итог собранию Воробейчиков.

11.

Мешок, накинутый на голову, прилипал к лицу и не давал дышать полной грудью. Вонь застоявшейся нищеты, которую источала грубая ткань, вызывала рвотные позывы, Машеньке казалось, еще немножко — и она умрет. Все тело нестерпимо ныло, ей было ужасно неудобно, так как ее перебросили через седло и куда-то везли. Кажется, какое-то время она была без сознания, ибо последнее, что она помнила, был туман, в котором скрылись собравшиеся у скалы люди. Когда же она стала различать вонь мешка и всевозможные звуки, в ее голове, словно потревоженные кузнечики, запрыгали разные мысли. Прежде всего до слез было жалко мать, она представила себе, как та страдает и не находит себе места, срывая злость на неповинной дворне. Потом ее охватил ужас: где Даша? Неужели она осталась одна с этими бандитами?! Что с нею будет? В уме рождались страшные картины каких-то диких оргий, невольничьих рынков и прочих мерзостей. Подобные фильмы были весьма популярны в Объевре, благо Голливуд уже лет двад-

цать как переместился в бывшую Турцию, а ныне — лекторальную зону. «Мамочки... только не это!..» — Прежде Маша совсем не так представляла себе свое недалекое будущее. Слезы бессилия и горькой обиды покатились по щекам.

Кони уже неспешно шли шагом. Похитители тихо переговаривались на каком-то странном языке, а монотонность движения почти укачивала. Вдруг что-то произошло, разговор неожиданно перешел на повышенные тона, они громко заспорили, и лошадь затанцевала на месте. Маша перестала плакать, и колючий страх охватил ее душу.

— Ты, кобелина поганый! — вдруг долетел до нее Дашин голос. — Ты и мысли такой не держи! Вон кобылу свою обихаживай, а об молодой барыньке и думать не смей!

— Гамадрил, я те разговор говорю: не моги кызымок цапать, они таньга большой стоят, а попортишь — Сар-мэн твоя яйца на сковородку ложить будет. Моя молчать не станет!

— Ай, ле! Зацем пустое на воздух брешешь? Я твоей сам таньга дам, я такоя куня даже рукой не трогал...

— Молцать, однако, моя не будет, мне свой яйца дорозе. Не цапай куня, скоро уже дома, тама таньга, однако, дас зрицам свободы и все полуцес. А есе, Мурдиксар четырех молодых ослицек, однако, в банды пригнал, совсем задаром дает подружиться.

— Ти это про ослициков не бресэс? — подобревшим голосом произнес тот, которого называли Гамидрил.

— Мамой Буды клянуссс! Сама видел один такоя рыженький, как ты лубис, однако.

«Господи, ужас какой...» — У Машеньки застучало в висках.

Они еще долго ехали уже в молчании, похоже, всадники прикемарили, и лошади сами неспешно брели в сторону дома. От мерного покачивания она тоже начала проваливаться в непрошеную дрему. И снился ей все тот же лунный сон, который они с Дашей так и не успели разгадать.

Пробуждение было стремительным.

Вокруг галдела разноязыкая толпа. Ослабшие ноги не держали, и Маша, еще ничего не соображая, повалилась на землю. Кто-то торопливо сдернул с нее мешок, и она зажмурилась от яркого утреннего света. Повернув голову, увидела летящую к ней и сдирающую с себя на ходу веревки Дашу.

— Ой, горюшко наше! Цела! — оглядывая и ощупывая еще не пришедшую в себя хозяйку, причитала прислуга. — Не сносить мне дурной головы, и поделом, поделом! Да не плачьте вы теперь-то, самое страшное минуло, здеся, в логове ихнем, вас никто не обидит. Они ж небось денег захотят получить... Как выяснят, что да как, так и отправят к тетушке вашей гонца.

— Почему ты все про меня говоришь, а ты как же? — еще шмыгая носом, но уже с любопытством озираясь вокруг, спросила Маша.

— Да что я? — возясь с веревкой на ноге, тихо ответила Даша. — Я ж из простых, кто за меня что даст?

— А тетушка?

— Да она еще небось приплатит, чтобы меня куда-нибудь подалей в гарем запродали! И правильно сделает, поделом мне, припадошной! Что меня дернуло вас с собой в горы тащить?!

Вокруг галдела стоокая, стогорлая толпа несусветного сброда обоих полов и самого разного возраста. И толпа, как единый организм, жадно взирала на незнакомцев.

И при самом горячем желании там невозможно было обнаружить ни одной сочувствующей пары глаз. Ибо толпа опустившихся людей всегда ненавидит случайно оказавшихся в ней чужаков, и не столько за то, что они — дети другого мира, а просто из-за собственной низости. Глядя на чистеньких, наивных и испуганных барчуков, представители низов особенно явно осознают свое ничтожество, а сделаться другими у них нет ни желания, ни возможности. Именно в этом скрыты первопричины всех бунтов и революций. Не будь в душах собравшихся здесь страха, два инородных для этого мира существа были бы безжалостно растерзаны и поруганы. Но страх, великий, всем управляющий страх заставлял толпу держаться на расстоянии от лакомого куска, и только глаза, недобрые и завистливые, нагло шарили по бедным жертвам, вонзаясь в них, как острые ножи мясника.

Толпа загалдела с новой силой, так что испуганные пленницы теснее прижались друг к дружке, решив, что пришел последний час и кто-то всесильный решил отдать их жизни на откуп своей нена-

сытной своре. Но, как ни странно, жадное отребье вдруг потеряло к ним всякий интерес и с шумными возгласами бросилось к воротам этого затерянного в горной тайге острога.

Через какое-то время в небольшой, вероятно, предназначенный для зимнего содержания овец загончик, в котором держали девушек, втолкнули трех новых пленников. У мужчин руки были связаны, а симпатичная молодая женщина в военном комбинезоне лихо отмахивалась от наседавших небольшим ножом. Толпе это нравилось, и она с одобрением ревела всякий раз, когда воительнице удавалось зацепить клинком не в меру осмелевшего бандита. Оказавшись в загоне и убедившись, что ей и ее спутникам опасность не грозит, девушка ловко разрезала веревки на руках одного из своих товарищей, надменно проигнорировав протянутые руки другого, спрятала нож и с любопытством уставилась на притихших соневольниц.

— Давно, девки, в этом говне сидим? — определив, что эти перепуганные квочки ей не конкурентки, спросила она и, протянув руку, представилась: — Эрмитадора Гопс! Не бо*и*тесь, подельницы, не дам я вас в обиду. Ну, чего онемели, зовут-то вас как?

— Мы — Даша и Маша, нас тоже только недавно привезли, — почему-то за обеих ответила служанка. — Тьфу ты! Это я — Даша, а вот она — Мария Званская, дочь именитой чулымской помещицы.

— Вот это уже яснее, а то «Маша-Даша», — пожимая протянутые руки, надменно произнесла Гопс и, небрежно кивнув в сторону мужчин, добавила: — А это — Енох из властных и его водила-му-

дила по имени Берия, который и сдал нас, гад, этой своре...

— Эрми! — помогая водителю развязаться, попытался урезонить ее Енох. — Берия нормальный, честный парень, вспомни, ведь это не мы, а он отстреливался от разбойников...

— Эт чо я слышу, кто это здеся честных лесных братанов сворой назвал? — властным жестом раздвинув притихшую толпу, к загородке вразвалку шел среднего роста человек в подбитой красным атласом стеганке и военных бриджах, заправленных в невысокие синие китайские сапоги. За поясом у него торчала золоченая рукоятка допотопного «маузера», а на ремне болталось несколько толстенных золотых цепей от карманных часов.

— Да я, Сар-мэн, и назвала. Не ведая, что к тебе в гости угодила, — гордо расправив плечи, вышла ему навстречу Эрмитадора.

— Опа, бля! Гопс собственной фотокарточкой! Ты чо творишь, беспутная? Я-то думал — заграбастал толстеньких карасей, а силки мои Гопс приволокли собственной персоночкой, вот уж невезуха! Ну тогда здор*о*во, что ли, скиталица моей души! — Они обнялись, удивив не только пленников, но и всю честную братию, замерев следившую за происходящим.

В отдалении, бочком к толпе, стоял Гамадрил со своим недавним спутником, морда первого выражала блаженство, судя по всему, он успел-таки побыстрому подружиться с рыженькой ишачкой. Увидев братания атамана с пленными, Гамадрил спал с лица и умоляюще глянул на товарища.

Дружбан, хитро улыбаясь, протянул лодочкой давно не мытую ладонь. Верзила Гамадрил, за что и был наделен своим приматовским прозвищем, обрадованно вложил в нее кучку желтых кругляшей, долженствующих гарантировать молчание товарища. Разбойник обстоятельно попробовал каждую монету на зуб, одну вернул для замены и, довольный, нырнул в толпу, растворившись в ее разномастности.

— Ну и куда ты на этих боровах пылила осередь ночи? — задал вопрос предводитель, насмешливо оглядев стоявших поодаль пленников. — Слушай, а этот, в натуре, вроде ничего, на приличные бабки потянуть может! — Он ткнул пальцем в грудь Еноха. — Но ты же хрен отдашь, а? Или, может, продашь мне его? А чо, неплохо пробашляю. Ты же в работорговцах никогда не числилась, те это западло было. Ну как, по рукам и в школу не пойдем?

— Сар-мэнчик, чего ты, родной, расчокался? Да и брось ты свою дешевую феню, неприлично, ей-право. Что о нас твои гости могут подумать? И потом, на улице в торг пускаться не с руки, если ты, конечно, в лаврушники не переквалифицировался. Угостили бы бедную жертву свободы каким-никаким напитком, лучше, конечно, хорошим горным чаем. Я ведь, помню, чай у тебя отличный варят...

— Гопс, да это я — жертва, век свободы не видать! А чо, пошли, чифирнем по махонькой, — и уже отвернувшись, бросил кому-то через плечо: — Этих тоже покормите, только не шибко, а то в дурь попрут.

Енох хотел было что-то сказать, да слова сами собой застряли в горле. Недавняя подружка, даже не удостоив его взглядом и призывно покачивая бедрами, в обнимку с бандитом, направилась к причудливому терему, прилепленному к самой скале.

А толпа стала молча расходиться, унося раздражение и досаду по своим норам, где ее можно было сполна выместить на домочадцах и тех, кто послабее.

Удрученный наместник Наместника приуныл. Он совершенно не представлял себе, чего следует ожидать. Запахнув поплотнее сюртук, уселся на поросшую изумрудным мхом землю и обреченно прислонился спиной о плетеную изгородь овечьего загона. В голове блуждали тревожные мысли. Зябко поежившись от утренней прохлады, он полуприкрыл глаза. И тут его посетило странное чувство. Он отчетливо ощутил на себе чей-то взгляд.

Такое бывает с человеком в минуты опасности и сильного душевного напряжения, нечто звериное вылезает из глубин естества и заставляет жить особой, доселе не ведомой, чуткой жизнью. Обостряются обоняние, слух и зрение, мозг улавливает самые тонкие колебания приближающейся опасности, спина ощущает не только легкий ветерок чужого движения, но и чужой взгляд.

Почувствовав на себе этот взгляд, он почти тут же уловил, что в нем не таится никакой для него опасности, тут было что-то другое. Он медленно повернулся. Большие голубые глаза с любопытст-

вом смотрели на него, а шелковистые волосы редкого пепельного оттенка послушно струились по тонким, почти детским плечам. Енох вздрогнул: перед ним сидела та самая незнакомка, которую он дважды за последние сутки видел в странных, не похожих на прежние снах.

Их взгляды встретились, и теперь уже Маша, охнув, залилась краской смущения: перед ней сидел человек, манивший ее на сеновал в том странном, тревожном сне. Она понимала, что так смотреть на незнакомого мужчину неприлично, но ничего не могла с собой поделать, да и тот, кажется, тоже не в состоянии был вынырнуть из бездонной голубизны ее глаз.

Берия и Даша с удивлением наблюдали эту сцену. Особо вникать в то, что происходит, ни тому, ни другой не хотелось: каждого в этот момент мучили свои проблемы. Водителю, как обычно, до умопомрачения хотелось есть, а девичье сердце разрывалось от жалости: она представляла, как ее несчастного Юньку волокут пороть на конюшню.

12.

В имении Званской творился переполох, к тому же вся дворня была уже не по разу порота. Пропала хозяйкина дочь, всеобщая любимица Маша, и еще двое непутевых дворовых людей. Развратная, как выяснилось, Дашка («Это на нее, окаянную, я ангелочка своего понадеяла!» — причитала барыня) и Дашкин кобель Юнька. Барыне доложили все: и

про сеновал, и про лестницу, которую сын конюха прилаживал вечор к барышниному окну, и про вестника старых богов, и про то, что в тайге ночью свара была, и про то, что к обеду у Змеиного Камня, верстах в десяти от истока Бел-реки, нашли пять оседланных лошадей, а всадников никаких обнаружено не было. Одним словом, страх да и только! И еще — собака завыла этой ночью, почитай, перед самым заходом луны. Какие-то нечистые дела творились в округе.

Полина Захаровна сидела на крыльце в специально по этому случаю вынесенном из покоев старинном материнском кресле. Сидела грозная и неприступная, как непутевый правитель прошлого века Юнцин с большого похмелья. Она машинально отдавала команды, принимала доклады, а сама в душе костерила Бога за то, что не дал ей хоть какого завалящего мужичонку, не всякое, мол, дело бабьим разумом спорится.

Масла в огонь подлил прибежавший Прохор.

— Беда, беда, матушка! — запричитал старик, целуя родственнице руки. Помещица окаменела, ожидая самого страшного. Верная Глафира уже держала наготове нюхательную соль. — Пропал, украден на поругание! Токи автомобиль его, весь разграбленный, нашли у Рябого Яра! Что будет, матушка? Что будет?

— Да ничего не будет, — вздохнув с облегчением и отводя Глафирину руку с солью, произнесла Званская. — Пришлют нового оболтуса, и дело с концом. Ты что это, придурок, о пустышке каком печешься, когда у нас дите родное некто схитил! —

переходя на строгий тон, напустилась она на Прохора. — Изыди с глаз моих, брюква пареная!

— Зря ты на меня так, барыня, зря! Общее у нас с тобой горе, только мнится мне, что, уладивши одно, мы и другое, с Божьей помощью, осилим, — понизивши голос, зашептал ей почти на самое ухо. — Верные люди дали знать, что Макуты-бея молодцы поозоровали сегодня ночью и у Змеиного Камня, и у Рябого Яра...

— Да при чем тут Камень и Яр, я те, садовая башка, говорю: Маша пропала, а ты опять...

— Да не ори ты так! — прицыкнул Прохор на родственницу. — И фурий своих отошли куда, дело тут нешутейное.

Полина Захаровна, вместо того чтобы обидеться, жестом отослала приближенных и, опершись на руку старого служаки, торопко подалась с ним в дальние покои.

— Потемки в нашем деле, Захаровна, потемки. — Усадив барыню на диван и пристроившись подле, начал старик. — Макута-бей нонешней ночью своих главарей сбирал на сход, об чем там гутарили, никто не знат, а кто и знат, тому сподручнее язык проглотить, чем полслова молвить. Одно говорено: недалече от наших мест сошлись, ну, мот, верст пять, не боле. Посидели, пошушукались и канули во тьме ночной. А как раз той же порой у Змеиного Камня на второй день полнолуния уж который месяц местно мужичье сбирается, и к ним выплыват ч*о*вен...

— Да где ж там челну-то плавать, в том месте Бел-реку и воробей в брод перейдет! Да и не томил бы ты душу, давай дело говори!

— Помилосердствуй, матушка, не перебивай, я и так-то в мыслях путаюсь! Вестимо, негде там човену байдать, так не об том гутарю! Знат, выплыват човен, а на ем дед, да с девками здоровыми, вровень твоей Нюшке с маслобойни...

— Да иди ты! В Нюшке ж, почитай, два метра с четвертью!

— Вот те истинный крест, — обнес лоб знамением Прохор, — сам, правда, не видел, мужик один глаголел, а он высок, метр восемьдесят будет, я его рулеткой мерил, так вот, мужик тот ей по сиську.

— Господи святы! Почто у вас, у мужиков, все мерки какие-то скабрезные: то до пупа, то по сиську, один срам в головах, — заплакала барыня.

— Да что ты, что ты... — принялся утешать Прохор.

— Ой, Прохор, одна ты мне на свете родная кровинушка остался! Что там с нашей Машуточкой, с ангелочком моим?! — Барыня заревела в голос.

— Ну что вы, бабы, за народ, не дослушают — и в слезы. Да жива, цела твоя Маша! Дашка при ней, яко цепной пес, сидит, никого не подпущает.

— Ты откуда знаешь?! — оборвав рыдания, волевым и уже набирающим строгость голосом воскликнула Званская.

— Юнька твой поведал...

— Где этот шельмец? Ко мне его — и розгами, плетьми...

— Злой ты к старости становишься, в дичь тебя прет, а еще народная помещица! Оттого и не пошел к тебе отрок...

— Ты его еще иноком нареки, кобеля! Мне порассказали, как он ялдырем своим по сеновалу махал! Отрок! Погоди, доберусь, я ему «отрочество»-то крапивой напарю. Где этот охальник? Веди его ко мне!

— Да кабы и мог, все одно не привел бы! Почто распаляешься, может, Глафиру кликнуть? А то свалишься, а тебе еще девку поднимать, замуж выдавать, зятя в укорот брать, — и не переводя духа выпалил: — Юнька в банде Сар-мэна дочку твою и свою невесту сторожит. Мот, ночью прискачет что новое расскажет. Так что охолони, гостинцев собери, только без барских искрунтасов, сама знаш...

Полина Захаровна помалу успокоилась. Глафира принесла каких-то ханьских сосалок от нервов, соорудили чай. Прохор все беспокоился о барине, да толком никто сказать не мог, когда наконец назовут цену за его свободу.

Надо сказать, что торговля людьми в Сибруссии процветала еще, почитай, со времен Преемника Первого Великого, а потому считалась уже укоренившейся традицией.

За год до того разгорелся всемирный скандал: прищучили дочь одного властителя удела, которая без зазрения совести продавала подвластный батюшке народец оптом и в розницу, только шорох стоял. За год, почитай, сорок тысяч казенных душ загнала, кого своим помещикам, кого на запчасти в Объевру, кого в дальние электоральные зоны, — концов не сыскать. Прищучить-то прищучили, пошумели для острастки, папашу на пенсию отправи-

ли, а дочку отпустили, и она ныне во Всевеликом Курултае заседает, законодательница наша.

Потому-то барыня и успокоилась, знала: теперь уже точно ничего с дочкой не случится. Сар-мэн хоть и безголовый, но все же Макутин человек, беспредельничать не станет. Вот кабы уйсуры девок умыкнули, ханьцы или кавказские чикинцы, тогда действительно надо было бы волноваться. А так Званская написала письма и Макуте-бею и Сар-мэну с предложением встретиться и обсудить вопрос о выкупе дочки и ее служанки. К слову будет сказано, Макуту-бея и Сар-мэнова папашу она неплохо знала. Все они когда-то в одной школе учились, другой в их тогдашнем захолустье и не было.

Так в хлопотах да воздыханиях и день прошел. Прохору ближе к вечеру принесли телеграмму от Генерал-Наместника, в коей их высокопревосходительство немедленно требовали Еноха Миновича на конфиденциальную аудиенцию. Долго думали, что отвечать на сей призыв, и решили: августейшему оку надобно донесть всю истинную правду. Так и сделали. По настоянию Глафиры ответ подписали: «Исполняющий обязанности коменданта Чулымской крепости Прохор Филиппович Званский», правда, прежде чем прописать фамилию, долго спорили, какова она у Прохора, эта самая фамилия. Его отродясь никто по фамилии и не называл, все Прохор да Прохор. Верх взяла барыня, настояв на родственности.

— А что, правильно, — отряжая посыльного на почту, довольная собой, рассуждала Полина Захаровна, — надо когда-то и тебе в люди выбиваться, а

то всю жизнь служишь, служишь, а проку — пшик! А тут, глядишь, может, чин какой дадут, да впрямь комендантом поставят, ведь годов пятнадцать крепость-то наша без главы.

— А что я — не голова? — с деланой обидой произнес Прохор, которому были приятны ее рассуждения.

— Ты-т голова, ты у нас на все случ*а*и голова...

— А между прочим, Прохор Филиппович за последние месяца три над пороховыми погребами крышу перекрыл, — многозначительно добавила Глафира Ибрагимовна.

— Ты уж меня-то не смеши, какие пороховые погреба? Он там со своей инвалидной командой капусту квасит, огурцы солит и самогон втихую курит...

— Ну, барыня, это пока порохов нетуть, а как война?! — стояла на своем верная служанка.

— Батюшки святы! — всплеснула руками Званская. — Глафира! Не втюрилась ли ты в эту облезлую обезьяну?

Прохор смутился. А Глафира, может, впервые в жизни не поддакнула хозяйке.

— Почему же это Прохор Филиппович — обезьяна? Он мужчина справный, да и родственник ваш как-никак.

— Ну, Глашка, гляди, я ведь после Рождества могу и под венец вас отправить, да с хозяйским родственным благословением...

Доложили, что с почты вернулся посыльный, и опять с бумагой.

В ответной телеграмме сообщалось, что Прохору Званскому присвоено звание обер-каптенармуса

и он назначен комендантом Чулымской крепости, а также ему вменялось в обязанность немедленно мобилизовать все имеющиеся в уделе силы и принять надлежащие меры по розыску пропавшего высокого чина. «Кроме того, учредить следствие по данному вопиющему факту и о ходе оного докладывать лично его высокопревосходительству Генерал-Наместнику Воробейчикову».

Все бросились поздравлять остолбеневшего Прохора, а тот все теребил в руках заветную бумагу, пока Полина Захаровна ее у него не отобрала.

— Н*а* вот, Глафира, да хорошенько спрячь, а то как чего коснется, концов не сыщешь! Бумага в наших палестинах всегда заглавной почитается, она не чета человеку, ей-то, любезной, только и верят.

Прохор, враз помолодевший, побежал исполнять высочайшую волю, а помещица с дворней принялась готовить гостинцы да хлопотать о пошивке мундира для новоиспеченного коменданта.

Юнька прискакал под утро.

Собака уже не выла. Густой туман застилал все вокруг, обращая окрестности в полную неузнаваемость. Что-то странное и тайное живет в тумане, меняется в нем подлунный мир, и знакомое становится незнакомым, и известное принимает чужие черты. Может, оттого в старину и не пускали матери детей бегать в туман, может, своей непонятной силой он и сегодня тянет к себе молодых, стремящихся узнать будущее и в нереальной белесости узреть своих суженых. Может, оно и так, в тумане все может быть...

Юный всадник скакал сквозь туман, не страшась и не замечая его. Ему о тумане было известно многое такое, что и во сне не снилось самым мудрым книжникам.

Юнь подскакал к крепости и удивился: старые ворота этой фортификационной ненужности были наглухо закрыты, а в караулке над ними тускло светили большие масляные фонари, которые прежде, сколько он помнил, валялись на чердаке дома наместника.

«Солдатни из окуема понагнали, — поворачивая своего верного Буша обратно в туман, подумал гонец, — ну и как мне теперь Прохора выманить? Ишь, и ворота затворили, а ведь их отродясь никто не запирал! Придется к барыне ехать». От этой мысли спина, а главное, мягкое место у юноши нестерпимо заныли в предчувствии хорошо вымоченной розги.

К усадьбе Званских он подъехал со всеми осторожностями, решил так: зайду к отцу, а тот пусть за Прохором сбегает или барыню разбудит. Как родитель решит, пусть оно так и случится. Но Юньку, оказывается, ждали. И не кто иной, как папашка, который, на удивленье, без тумаков и попреков повел его в усадьбу. Только одно и спросил:

— И долго ты в банде прохлаждаться будешь? Тут работы невпроворот...

— Ничо, бать, управлюсь и возвернусь...

— Ты уж возвернись, возвернись, дык оно это... и свадьбу надо ладить, а то как-то не емко все у вас выходит...

Юнька страсть как обрадовался отцовским словам, но договорить им не дали. Навстречу, как ему

показалось, знакомой походкой семенил какой-то военный. Только юноша изловчился, чтобы сигануть в кусты, как батя цапнул его за рукав:

— Не горячись, сынок, это ж наш Прохор Филиппович...

— Вишь, брат, как все обернулось! — обнимая гонца, произнес довольный комендант, поправляя великоватый картуз, который вместе с побитым молью мундиром был спешно извлечен из крепостных чуланов. — На чужом, можно сказать, горе, на людском смертоубийстве карьер делаю. Вот как она, юдоль-то, закручивает!

— На каком смертоубийстве? Что ты городишь, дед Прохор?

— Ты бы, сынок, поаккуратнее. Прохор Филиппович, — одернул отец, — намедни определен комендантом крепости!

— Что?! Где?! Юнька, паршивец! — Им навстречу стремительно неслась барыня, а за ней, с фонарем в руке, — Глафира.

В глазах у юного донжуана потемнело, ноги послабели, но бежать он и не собирался. Да что он, не мужик, не бандит, что ли?! Поправив за поясом обрез, он смело пошел навстречу судьбе.

13.

Енох резался с Сар-мэном в карты, пытаясь отыграть хоть какую-то часть назначенного за него выкупа. Женщины шушукались о чем-то своем в противоположном углу бандитской светлицы.

— Не, Енох, ты ж не хреновый кент, — подливая себе в пиалу на молоке сваренного чайку с шишечками конопли, заплетающимся языком говорил гостеприимный хозяин. — Вот пошто ты у меня выиграть пытаешься, хлебушка лишаешь, сам видишь, сколь у меня ртов, еще и Макуте-бею на общак выделять надо.

— Сар-мэн, братан, ты мне сам, в натуре, эту канитель предложил! Да я больше продул, чем выиграл.

— Нет, Маша, ты только послушай их разговор, — покосилась на мужчин Гопс. — Сразу и не разберешь, кто разбойник, а кто государев чиновник! Сар-мэнчик, милый, ну соскакивай ты со своей фени, мы же с тобой договаривались.

— Спокойно, моя баронесса, это во мне азарт взыграл...

— Да будет вам ведомо, досточтимая Эрмитадора, — перебил его Енох, — что чиновник сродни бандиту, и не благородному разбойнику, как наш хозяин, а самому кровожадному бандиту, и чем демократичнее государство, тем наглее и беспощаднее представитель власти. В свое время граф Кропоткин...

— Знаю я Поткина, мировой бродяга, мы с ним... — хитро глянув на женскую половину, Сармэн что-то жарко зашептал в ухо картежному приятелю.

Оба захохотали. Отдышавшись, продолжили игру.

— Увидел бы вас Воробейчиков, его бы кондратий хватил. — Гопс по-кошачьи грациозно потянулась и стала кокетливо красться к играющим.

Маша восхищенно наблюдала за нежданно обретенной подругой. Ей все нравилось в этой своевольной и таинственной женщине. Она даже простила ей близость с Енохом, тем более что все случилось до нее. И потом, Енох Минович взрослый и свободный мужчина, а она кто? Зеленая девчонка, какие между ними могут быть отношения? Однако стоило Машеньке его увидеть, как сердце начинало трепыхаться, щеки гореть, мысли путались, так что порой даже забывала, куда шла. Сначала она это списывала на свой недавний испуг, подозревая у себя нервный срыв. Но однажды не выдержала и проболталась Дашке. Та запрыгала вокруг нее и захлопала в ладоши. Вот дурочка, чего удумала, и не собиралась она ни в кого влюбляться. А потом был серьезный разговор с Эрми, и та ей такого понаговорила, что ее чуть не стошнило. И двух суток не прошло, как она невольно выскользнула из-под всякой опеки и такого понаузнавала, на такое насмотрелась! Чего стоила одна сегодняшняя ночь! Сначала Даша с Юнькой сопели весь вечер за стенкой. Она и так и сяк вертелась, а сопение, хоть и тихое, но такое тайное и стыдное, что как ни вертись, все равно в уши лезет. Потом Юнька помчался в поместье, повез от нее записку матери. Дашка пришла вся раскрасневшаяся как после бани, довольная, глаза от счастья горят, как угли, того и гляди, что-нибудь запалит. Улеглись они спать, Даша сразу засопела, а Маша еще долго ворочалась, ей все чудилось, что кто-то ходит возле их светелки, да и половицы скрипели, и потом будто вздыхал кто. И тут где-то в отдалении сначала сдавлен-

но, а потом и во весь голос застонала и закричала Эрми. Маша испугалась ужасно, растолкала Дашку, та послушала, хмыкнула, дескать, спите, барышня, придет время, вы, может, и похлеще голосить будете, и вновь засопела. В такой маете она забылась лишь под утро тревожным, зыбким сном. А уж приснилось же ей такое — до сих пор без стыда вспоминать не может! Утром все проснулись в хорошем настроении, и только она одна — с кругами под глазами и головой тяжелее колоды. Одна радость — Юнька письмо и гостинцы от маменьки привез. Когда везли их в мешках, плакала она и молилась, и маму звала, и решила с тех пор больше никогда ее тетушкой не называть.

Письмо привезли не только ей, но и Сар-мэну. Вечером он собрал их в большой комнате и объявил:

— Вот чо я вам скажу. Маляву я от всем известной Полины Захаровны получил. Серчает, грозится, ежли что не так, на фарш меня пустить. Но у нас как раз все так! Главное — фарт попер, по маляве приличное бабло может обломиться... — Увидев капризно искривленные губы Эрмитадоры, атаман осекся. — Прошу пардон, уважаемое собрание, капризная мадам фортуна повернулась ко мне своим прекрасным личиком, а не каким иным местом. Ваша тетушка изволили предложить мне приличное денежное вспомоществование. Правильно ли я изъясняюсь, милая? — обратился он к Гопс.

— Сар-мэн, если ты станешь и дальше строить из себя дебила, я тебя просто заклюю! — напустилась на него Эрмитадора. — И конец нашей друж-

бе! Перед тобой же нормальные люди сидят, вот и говори с нами по-человечески, у тебя ж, если мне память не изменяет, не одно верхнее образование имеется.

— Ну ладно, Эрмик, ладно, — примирительно поднял вверх руки атаман. — Говорил мне покойный родитель: не спи с умными — поумнеешь! А в моей юдоли ум иногда помеха. Короче, я вам так скажу: без выкупа вас отпускать мне не резон, свои же засмеют, да и Еноха со службы без всякого достоинства попрут. А так мы ему после тайной передачи денег побег устроим со стрельбой и ранениями, того гляди и орденок огребет...

— Да как же это, зачем ранения?! — заливаясь краской, воскликнула Маша.

— Мария Захаровна, мы его подстрелим аккуратненько и без вреда для будущей супружеской жизни, — добродушно ухмыльнулся Сар-мэн. — А чтобы не обидно было, можно на всю сумму выкупа сыграть в карты. Годится? Ну, кто тут смелый? Времени у нас полно, все равно надо и денег и Макуты-бея дожидаться...

— Сар-мэнчик, миленький, может, мы заглянем хоть одним глазочком в те подземелья? — лисой заходила Гопс. — Просто заглянем и сразу обратно, а?

— Тебе ж человеческим языком объяснили: неизвестно, что там, и Макута туда ходить запретил. Потерпи уж, вот лучше в карты, садись, по маленькой перекинемся...

Но на карточный поединок согласился только Енох, считавший себя неплохим игроком. Игра шла с переменным успехом уже не первый час. Девушки

скучали, Гопс пару раз пыталась заставить своего кавалера обратить на себя внимание, но все впустую.

— Нагуленный кобелина, — с досадой сказала она. — Теперь до ночи и бровью не поведет. Эх, была бы ты, Машка, с Енохом порасторопнее...

— Что значит порасторопнее? Он зрелый мужчина...

— А ты думаешь, зрелым молодицы уже и не впору? Дарья, ты чего барышню свою не просвещаешь? С бандитом где ни попадя дрючиться горазда, а вот объяснить несмышленой, что Енох на нее запал безвозвратно, тебе не досуг...

— Да что вы, Эрмитадора Остаповна! Я уж и так ей говорю и этак... Не могу я объяснить это по-ейному, а по-нашенски боюсь! Сегодня вон в ночь перепугалась барышня ваших криков, меня будит, идем, говорит, Эрмитадору спасать, он ее, душегуб, убивает! — прыснула в кулак Дашка.

— Ну и надо было привести, пусть бы глянула. Лучше один раз увидеть, чем месяц объяснять. Маш, а Маш, да не заливайся ты малиновым сиропом, ты что, в самом деле понятия ни о чем не имеешь? Бедный Енох!

— Да что вы все на меня напали?! — вскочила девушка. — Все я знаю, а чего не знаю, придет время, узнаю.

— Мария Захаровна, — заметив, что Маша собирается выскочить из покоев, поднялся из-за столика Енох. — Уж не погулять ли вы? Ежели не против, я бы составил вам компанию! — и повернувшись к сопернику, попросил: — Брат Сар-мэн, не вскрываемся, вернусь — доиграем. Ты уж прости...

— Дело барское, я с прибытком, а вот ты свой фарт перебил! Мне только на руку...

— Да нет, — уже от дверей каким-то необычным голосом отозвался Енох. — Мне кажется, мой фарт еще впереди...

14.

Макута-бей торопился. Ночь выдалась неспокойной, сначала, чуть ли не разом, прискакали четыре его человека из окуемского центра. Хорошо хоть не столкнулись носами в лагере, а то бы конфуз вышел. По городу они знакомы, и двое даже служили в одном ведомстве, однако никто из них не догадывался о связях своих товарищей со свободным лесным народом. Все четыре гонца привезли одну и ту же новость: Воробейчиков, боясь огласки, провел внеочередное заседание вольных каменщиков и вменил в обязанность всем братьям, оставив иные дела, заняться тайными поисками Шамбалы. Судя по рассказам своих людей, Макута понял, что непутевым властям многое известно, а самое неприятное заключалось в том, что в захолустный Чулым грозилось понаехать столько народу, что о вольном житье-бытье придется позабыть. Уходить же за кордон он не собирался, да и куда? Дома и без того разруха и полная похабщина, а здесь еще эти Властители вселенские удумали нагрянуть. Всем, видать, охота до великих тайнов прикоснуться! И как же быстро бегут ныне вести, еще подумать не подумал, сказать не сказал, а уже

ползмного шара знает, что где-то здесь, в Чулыме, и сокрыто заповедное вхождение в эту самую Шамбалу. И главное, что это за Шамбала, никто объяснить не может. Уж сколько он за последние дни баек понаслушался об этих палестинах! Шамбала, Беловодье, тайная Держава пресвитера Иоанна, как только не именовали сие место, и все это, выходит, где-то совсем рядом. Но то где?! Он уж все мозги исхлестал — все в порожняк! И тут на тебе! Об ком и подумать не мог, почитай, дурень, хоть и полжизни по заграницам учился, а вот взял и додумался! А может, от кого и дознался! Вот тебе и Сармэн, вот тебе и жертва нетрезвого зачатия! Пронюхал, проныра, и сам не поперся, а его, вожака, дожидается. Молодец! Хоть чем-то в отца.

Сам по себе разбойничий атаман грозным с виду не был, так, кряжистый да жилистый мужичонка, накрепко связанный с этой древней землей. Исстари здесь жили его когда-то высланные с далекой и уже почти мифической Украины предки. Зловредное и упрямое их семя дало хорошие всходы, почти никто из его рода не пошел, что называется, в чертополох, все сгодились для обустройства ставшей родной Чулымской земли. Много чего могли бы порассказать об этом семействе краеведческие хроники, если бы их периодически не жгли наезжающие из первопрестольной служивые люди. Так уж у нас повелось, что из Кремля всегда виднее, что и как должно на самом деле происходить в глубинках любезного Отечества. Главное — и это всем известно — правильный вывод, не результат. Оглашенный вывод — вот всему голова! От него и

пляшет дальнейшая история, а что взаправду произошло на бескрайних просторах демимперии, так это всем, как говорится, по барабану. И так повсеместно: и в жизни державы, и в перипетиях семейства, и в юдоли отдельного человека. Как кого огласили, обытожили, так тому и быть, и никакой тебе отсебятины.

Однако Макута, как и весь его род, чужим итожением жить не привык. Фамилия его, еще и без приставки «бей», зазвучала после притязаний Белоукрии на местные земли.

Мало кому ныне ведомо, что некогда на месте нынешней Сибруссии существовала огромнейшая страна под названием Советский Союз. Что это была за страна, а главное, что и когда с ней приключилось, никто не помнит. Забыли единодушно, и дело с концом. Одно доподлинно известно — развалился в одночасье этот самый Союз на неравные куски. Из-за чего это произошло, знают, может, самые дряхлые старики, но и те молчат в тряпочку. Старики молчат, в энциклопедиях на этот счет ни гу-гу, — и наверное, правильно: зачем народу излишние умствования? Хлеба, что ли, больше станет или пенсия прибавится?

А лет шестнадцать назад белоукры, бывшие Макутины земляки, прознали из какой-то объевровской передачи о существовании в Чулымии лихого разбойничьего атамана со звучной фамилией. Что тут сделалось! Чуть ли не война! Макута враз из разбойника обернулся в благородного борца с москалями за незалежность и скорейшее присоединение исконно белоукрских территорий великой

Чулымии к исторической родине. А ради Родины чего не сотворишь! И пошла писать губерния, научные институты и академии трудились денно и нощно и доподлинно доказали, что давние предки Макуты служили приват-бандитами при княжеском дворе аж Владимира Красно Солнышко! И были сим ниспровергателем и возносителем богов весьма обласканы. Вот так, не больше и не меньше. А уж коль такая приключилась история, то и земли нынешнего обитания Макуты являются исконными землями Великой Белоукрии. Возможно, это было бы смешно, но, не вмешайся великие Вселенцы, неизвестно, чем бы закончилась для Сибруссии война, объявленная Яснодемократичным князем Арло Третьим. Макутебею пришлось, используя всяческие уловки, объяснять мировой общественности, что он никакой не борец за всемирную Белоукрию, а обычный романтик ножа и топора с большой дороги. С полгода тянулась эта бодяга, князь Арло в Гагарский трибунал на Макуту иски подавал, но, по причине неявки на судебные заседания ответчика, все завершилось безрезультатно, хотя смертный приговор ему все же вынесли, так, на всякий случай.

Макута-бей и спешил и не спешил. Верный конь его то летел галопом, то переходил на мерный шаг, то и вовсе останавливался, мирно пощипывая набирающие сок дикоросы. Атамана брала оторопь. Вот доедет он до сармэнского бивака, ну проскачут они с ним да еще с десятком верных людей эти четыре километра до истока Бел-реки, ну отыщут потайной

лаз, ну войдут, а что дальше, что там, в этих заповедных чертогах? На что наткнется человечий несовершенный взор, а главное, как отреагируют на их появление те, кто этого вторжения не только не ожидал, но и активно не желал целые тысячелетия!

«Влетишь ты со своей бандитской рожей в некое святилище, — думалось атаману, — а там все подругому, по-чистому, и что ты им скажешь? Мол, честн*ы*е... как-вас-там, я Макута-бей, бандит с большой дороги, прибыл защитить вас от неминуемой погибели и всемирного поругания. И это скажешь ты — пигмей окаянный? Властителям мира, творцам Вселенной, которым стоит только пальцем или извилиной одной пошевелить, и шар земной перевернется!»

Было ему отчего дрейфить! Мороз спину леденил, потому что никак он не мог представить себе тех подземных обитателей. Какие они, с одной или с тремя головами? Можно ли с ними по-нашенски погутарить, али они какие страшилища, про коих в старомудрых сказках старики со старухами бают? Тут хочешь не хочешь мозги закипают. Уже перед самым Сар-мэновым логовом принял атаман окончательное решение: «Людьми рисковать не буду, пойду в одиночку, погляжу, что да как. С голыми руками, без оружия, а то как бы с перепугу в кого не пальнуть ненароком. А там будь что будет, потрафлю подземельцам — хорошо, а в немилость придусь, пущай губят, небось не впервой! Может, для этих небожителей и человек р*а*вно букашка какая. Хотя какие же они небесники, коли в пещерах земных прячутся, словно совы или мыши летучие! Сол-

нышка чураются! Однако решено: иду один, а сгину или смерть лютую приму, что поделаешь, все одно когда-то помирать, и так уж зажился. Три смертных приговора за спиной, как голодные волки, когда-никогда, а настигнут. Еще и подумать крепко надо, где помирать легче — в печорах ли горных, али на государевой дыбе в лубяных застенках».

Определился разбойник, и с души словно камень свалился. Туманная ночь просветлела, и копыта верного конька по горной тропке веселее застучали. Так уж исстари на земле нашей повелось, что атаман, в отличие от золотопогонных командиров, всегда впереди своей ватаги, а не будь он там, и в вожаки бы черта с два выбился, да и слушать бы его никто не стал, так непримеченным бы и сгинул в людской круговерти.

15.

Маша и идти не шла, и слышать не слышала, и дышать не дышала. Сердце, как воробей, прыгало в груди, трепетало своими невидимыми крылышками, рвалось на волю, а волей этой был идущий рядом человек, который что-то весело рассказывал, махал руками, забегал вперед и пытался заглянуть ей в глаза. Маша избегала этого взгляда, ей казалось, встреться их глаза, случится что-то непоправимое и нестерпимо грешное. «Прочь и прочь несуразные страхи! Что может произойти от одного взгляда? Вот сейчас подниму глаза и посмотрю на него!» — Девушка замедлила шаг и неимоверным

усилием воли заставила себя повернуть голову в сторону своего провожатого.

Тот только этого и ждал, их глаза, словно пьяные, столкнулись и, вместо того чтобы отстраниться, сплелись в нечто единое и провалились в глубины друг в друга. И от этого взаимного проникновения в девичьей душе все сразу успокоилось, окружающий мир обрел привычные очертания, дыхание выровнялось и перестало вздымать рвущуюся наружу грудь с нагрубшими от возбуждения сосками. Маше нестерпимо захотелось прижаться к этому большому и сильному человеку, уткнуться в его грудь и, не таясь, вдохнуть в себя ни с чем не сравнимый запах чужого мира. Она уже не боялась плена, отвратительных разбойников, ей даже не хотелось никуда уезжать из этого чудного места. Понемногу осмелев, она заметила, что у ее спутника очень вдохновленное и оттого слегка глуповатое выражение лица, казалось, он на все готов, чтобы ей угодить. Маша вспомнила рассуждения всезнающей Эрмитадоры о том, что все влюбленные мужики похожи на телят, видящих сиську: и морда глупая, и мычание несуразное, и слюна гужом течет, и мира божьего они не видят, пока не дорвутся до вожделящего их предмета. Она на минуту представила, как у Еноха текут слюнки и он, глядя на нее, вожделенно мычит, картина получилась такой забавной, что она чуть было не прыснула со смеху.

От своей шалости Маша немного смутилась и, отвернувшись от Еноха, бросила взгляд окрест. Тут она в изумлении замерла, и слова восхищения сами сорвались с ее уст.

— Красота-то какая! Посмотрите, Енох Минович, Белуха открылась!

Они стояли на неширокой горной тропинке, которая, затейливо петляя, упрямо карабкалась к вершине нависшей над разбойничьим станом горы. Внизу, кутаясь в позднем тумане, лежал поросший вековым кедрачом распадок. Только ближние деревья, росшие на краю небольшой покатой луговины, имели более или менее отчетливые очертания, все остальное было размыто до неузнаваемости. Там, дальше, на противоположном берегу этой белесой бездны, вздымались далекие черные горы. Сверху над ними словно парила белоснежная, искрящаяся в золотистых лучах еще не видимого солнца великая и заповедная, продолговатая крыша Белухи — горы строптивой и своенравной. Не всякому она открывалась и бросалась в объятья, словно долгожданному родственнику, воротившемуся в родной дом. Иные охотники неделями караулили ее появление, чтобы пощелкать фотоаппаратами, загнать священный облик в микрочипы и утащить в далекие, воняющие смертью и отходами города. Говорят, что там, в бездушных каменных джунглях, одно лишь изображение горы творило чудеса, лечило, утешало, помогало многим людям остаться хоть в какой-то мере людьми. Не будь она столь недоступна, скорее всего ее бы постигла участь многих святынь мира, которые благодарные любители древностей и экзотики давно растащили на сувениры.

Маша стояла как зачарованная. Ей казалось, еще немного, и она, оттолкнувшись от ветрами от-

полированного камня, улетит далеко, к белоснежной вершине! Может, и правда: если долго-долго смотреть на эту великую гору, душа твоя может слиться с ней воедино, и тогда тебе откроются тайны мира. Только жизнь твоя и помыслы должны быть чисты, как снега Белухи. Маше было так хорошо, что объятия Еноха нисколько ее не смутили, а скорее наоборот, она прижалась к нему, еще более счастливая от мысли, что вот они оба удостоены чести видеть эту святую для Азии вершину, которая, как добрая и всепонимающая мать, благословляет их на нечто важное и неизбежное.

— Машенька, — боясь спугнуть девичье настроение, тихо произнес опытный Енох, — вы самая прекрасная, чуткая и трепетная девушка, какую я встречал в своей жизни. Он говорил, речь его становилась все более напористой, и Маша чувствовала исходящий от него жар. — У меня все путается в голове, — продолжал он, — это, ей-богу, наваждение. Господи! Как я благодарен судьбе за это ночное путешествие, которое привело меня сюда, на эту гору...

— *Нас* привело, — сдавленным, будто чужим голосом добавила девушка.

— Да, да, конечно же, нас! Господи, как я рад... Маша, не сочтите за глупость, но я... я... — Енох запнулся на полуслове, кровь стучала в висках, он и сам чувствовал, что трезвый и практичный ум отказывается ему повиноваться. Неведомая и страшная сила переполняет его естество и готова перевернуть весь мир, чтобы только это наивное стояние на открытой ветрам вершине горы никогда не конча-

лось. — Я люблю вас, Маша! — произнес он, удивив самого себя.

Голова кружилась, казалось, еще чуть-чуть, и она брякнется в обморок. «Господи, мамочки мои, что же мне делать? Что-то надо делать...» — она повернулась к нему, но ответить ничего не успела. Его губы властно и требовательно преградили путь и словам и дыханию. Мир, горы, Белуха — все завертелось и провалилось в мягкую бездну блаженства. Сколько продолжалось это безумие, она не смогла бы ответить, и только одна мысль стучала в голове: пусть это не кончается, не кончается... Сначала мелкая дрожь, а потом неукротимый лихорадочный озноб охватил все ее тело, наполняя его неведомым и непобедимым зовом.

Они разомкнули губы и, глупо глядя друг на друга, жадно глотали широко раскрытыми ртами тягучий горный воздух. А потом, как по команде, рассмеялись. Чуткое горное эхо, стократ усилив их радость, разнесло ее по окрестным горам. Через мгновение весь поднебесный мир уже знал, что два одиночества нашли друг друга и готовы слиться в единое целое.

Потом они еще долго-долго целовались, гонялись друг за другом и просто дурачились. И неизвестно, чем бы все это закончилось, не прерви их веселые игры совсем, как показалось, недалекий выстрел.

— Ой, что это было? — запоздало вздрогнула Маша, поглядывая из-за плеча Еноха в сторону крутого склона, где еще билось эхо смертоносного звука.

Они настороженно прислушались.

Внизу послышался громкий женский крик.

— Господи, да это же, кажется, Эрмитадора! — Маша рванулась вперед, но Енох поймал ее, почти грубо дернув за плечо.

— Значит так, — другим, жестким и незнакомым ей голосом произнес он, — спешить, очертя голову, не следует...

Внизу опять раздались выстрелы. Один, два, три! После третьего медведем взревел какой-то мужик. Хлестануло еще два выстрела, эхо раздробило их об окрестные скалы, и на опешившую парочку гулко упала горная тишина.

Маша не успела ни обидеться, ни испугаться, она лежала на земле, плотно прижатая Енохом, даже не успев сообразить, как это так получилось.

— Маша, — приподнимаясь на руках, произнес мужчина, — дело, кажется, серьезное, лежите спокойно и не вздумайте подыматься, мне показалось, что это в нас стреляли. — Он осмотрелся вокруг и прошептал: — На четвереньках, быстренько, за мной вон к тем камням! — Неловко, но по-звериному проворно, он, смешно вихляя толстым задом, подался к трем большим продолговатым камням, лежавшим над откосом, откуда, вероятнее всего, и стреляли.

Маша, наверное только сейчас по-настоящему испугавшись, покорно следовала за Енохом, больно сбивая о камни локти и коленки. На какое-то время она потеряла из виду его медвежью фигуру, а когда добралась наконец до камней, с ужасом увидела, что его там нет. Машинально пытаясь отрях-

нуть с брюк зелень и землю, она переползла ближе к краю среднего камня и заглянула за него. Крик ужаса застыл в горле. Прямо перед ней сидел здоровенный бандит, беспомощно прислонясь к горной расщелине, оружие валялось рядом, в луже расплывавшейся по мелкому песку крови. Карие, широко раскрытые глаза неподвижно глядели куда-то вверх. От неожиданности слезы сами собой хлынули из глаз, девушка отшатнулась назад, отползла подальше и, прижавшись к камню, стала испуганно оглядываться. Туман уже давно растаял, но солнце было словно размазано по всему небу плотными облаками. Священная гора скрылась с глаз. От безысходности и страха слезы высохли. Немножко успокоившись, девушка плотнее прижалась к серой каменной стенке и никак не могла решить: следует или не следует ей позвать Еноха? Стоящая вокруг тишина невольно заставила ее прислушаться. Слева кто-то, тяжело дыша и спотыкаясь о камни, поднимался по скале.

16.

В Кремле стоял переполох. Великая держава готовилась к ответственной передаче высшей конституционной должности, и сама процедура находилась, можно сказать, в кульминации. Да-да! Его величество Августейший Демократ готовился передать всю полноту своей неограниченной власти непосредственно самому себе. Конечно же, эта торжественность происходила не с бухты-барахты, а

выливалась в самые настоящие равные, прямые и всеобщие выборы. А как же, иначе нельзя! Согласно давней традиции, Преемник не мог оставаться в своей высшей вакансии более двух раз. Как и во всем цивилизованном мире: раз избирают, другой раз переизбирают, и все. Конечно, можно какой-никакой заговор заплести, приморить преемничка, после, скажем, полугодичного властвования — но не рекомендовано Всемирной хартией, да и времена не те! Кругом всеобщие свобода, равенство и полнейшее братство. Чего, собственно, мутить-то зазря? И тут вдруг на тебе — конфуз!

И сидит этот «конфуз» в приемной первого лица государства в неурочное время немым укором отечественной расхлябанности и головотяпству. Хотя, собственно, почему головотяпству? Ну что мы за люди такие, хлебом не корми, дай голову пеплом посыпать да оклеветать себя почем зря! Загадим сами себя и довольны, а люд-то окрестный верит, шугается, ровно от прокаженных.

Наверное, именно так и думал канцеляроначальник Ибрагим Иванович Сучианин, понуро взирая на заграничную бестию. Прилетел, никто его не ждал, не встречал, а пропуск у него аж вездеходный, спецмировой, таких на всем земном шаре не более трех десятков наберется. В нашей державе всего четыре, и то — у каких людей!

А заморец сам из себя черный, ровно головня, с раскосыми глазищами и белыми, яко дым, курчавыми волосами. Инициалы его басурманские — МПС — расшифровывались смешно: Магомедченко Пафнутий Смитович. Именно так он и

представился Ибрагим Иванычу, прибавив, дескать, по срочному делу. Выслушал все это бессменный канцелярист (при месте-то он уже и не упомнишь, с какого Преемника), а про себя думает: «И где ж я тебе, милок, Августейшего разыщу после обеда? У нас даже и подумать о беспокойстве Высочайшей особы в это время дня опасно. Песьи уши прослышат и — тю-тю!»

— А знаете ли, бесценный вы наш, — поразмыслив, молвил канцелярист, — давайте-ка мы поступим таким образом. Сейчас оформим ваш визит и, так как по документам вы особа высокого рангу, придадим ему соответствующий статус, разместим и обиходим как положено, вы с пути-дороженьки отдохнете, а уж завтра поутру, как у нас заведено, с челобитной, в чертоги, так сказать, свободомыслия. А если изволите намекнуть о теме-с, и, как бы это поделикатнее изъяснить... — столоначальник выразительно потер большой палец об указательный, — можно и о положительном результате вашего визита позаботиться.

От таких речей заморец аж побелел и понес какую-то тарабарщину на неведомом в азиатских местах языке.

— Да он же, падла, на чистейшем аглицком наречии шпарит! — шепнул на ухо Иванычу дежурный переводчик из откудонадовских. — А это категорически возбраняется всемирной языковой хартией! Параграф шестой сто восемьдесят первой статьи категорически запрещает употребление несинтетических языков в госучреждениях и общественных местах, за нарушение — строжайшие санкции.

— Ти-ти, голуба! — выставив вперед руку, охолонул приезжего Ибрагим Иванович. — Вы бы, любезный, поаккуратнее с мертвыми-то языками в присутствии, — хоть не без огрехов, произнес он на общепринятом в мире языке.

Гость смутился, но глаза продолжали зло зыркать.

— Я — высокий посол Всемирных сил! И я требую немедленно доложить о моем визите вашему руководителю, в противном случае мне придется... — Закончить мысль ему не дал вышедший из-за своего стола Ибрагим Иванович. Решительно подойдя к посланцу, он, широко взмахнув руками, обнял его и троекратно смачно поцеловал в губы. Заморец от неожиданности плюхнулся на стоявший за спиной стул.

— Коль вы посол, да еще и высокий, двигали бы вы, любезный, прямиком в МИД! Я вам положенное в таких случаях троекратное целование от Гаранта передал, а все остальное завтра с утра...

Туго соображая, гость пытался возражать.

— Не-не, любезный, в МИД! Там твое место, а мне некогда! — Сучианин сгреб со стола охапку бумаг. — У меня вон документы государственной важности. Мне не до послов.

И вот тогда... Тогда эта басурманская рожа с ехидной улыбочкой подошла к столу и вежливо так положила на самую его середину продолговатый жетончик, на котором были вычеканены семь золотых скорпионов, держащие на своих хвостах земной шар.

Теперь бледнеть пришлось канцначальнику. Неповиновение предъявителю подобной бирки могло не карьеру любого чиновника, а разрушить остатки кремлевской ограды, а может, и всю страну.

Но самое страшное заключалось в том, что, по слухам, такие метки предъявлялись руководителю державы в случае, когда Властители Мира единогласно выносили Вердикт о Недоверии, а Недоверие это влекло за собой добровольный уход правителя и из власти, и из жизни.

— Сейчас, сию минуточку! Чаю гостю, чаю! Да покрепче! Сейчас, любезнейший Пафнутий Смитович, о вас будет, куда след, донесено! — Ибрагим Иванович с проворностью белки метнулся из-за стола. — Ты тут гляди! — гаркнул он дежурному. — И не сиди сиднем, составляйте протокол о ненормативной лексике, сигнализируй по своей линии, ну и его «крути», а я мигом! — и, цапанув со стола бирку, ринулся в дверь. — Катя! — оставив озадаченного офицера, крикнул он в подсобку, — заварки не жалей, не жалей и сыпь из *правильной* банки! Ну, вы все у меня!

Последние слова уже подхватило гулкое эхо длинных дворцовых коридоров, в которых из экономии и иных этических соображений лет десять как поубирали ковры. Исчезновению ковров предшествовала долгая фракционная и внутриполитическая борьба, итогом которой стала знаменитая фраза Преемника Четвертого: «Пусто и гулко, зато нас никто не обвинит в подковерных интригах!» Колоссальнейшей мудрости был правитель, да у нас других, слава Богу, и не бывает.

Перво-наперво ушлый канцелярист бросился к наместнику главного визиря, действующему тайному советчику Владисуру Джахарийскому. Небольшого росточка (а небольшие росточки у нас давно прочно в моду вошли), невзрачненький, ако погребная поганка, с коротенькими ручками, губастенький, с востренькими ушками, в скромном костюмчике, аккуратненький до отвратности, он тоже относился к старожилам и был, почитай, главным интриганом среди огромной придворной свиты. Именно ему приписывает молва право быть родоначальником суверенной демдиктатуры — главного идеологического учения современной эпохи. Многие, конечно, сомневаются в его первородстве, дескать, где уж ему, он и говорит-то коряво, а уж писать, так это всем ведомо, только в Кремле и научился. Но в суверенной демдиктатуре главное — дух, опора народотворческих сил правопорядка и административной потенции регионов, а не что-то другое.

— Беда, Владисур, беда! Что и делать, не знаю!

— Не блажи, отдышись, хлебни чайку, вот присаживайся. Ишь как запыхался! Давай-ка по порядку.

— Да полно меня успокаивать! Беда, я тебе говорю, в державе! Царю, тьфу ты черт, Августейшему Демократу метку привезли!..

— Какую еще метку? Ты что, брат, обкурился? — хмыкнул хозяин кабинета.

— Со скорпионами метку, башка твоя тугая! От Высших сил! — и он аккуратно, словно боясь раз-

бить или погнуть, выложил на стол привезенный негром жетон.

Джахарийский побледнел как полотно.

— Да не может этого быть, ведь не за что... Не за что! Все указания выполнили, стены срыли, крамолу извели! Дионисия прокляли! Нефть почти всю им выкачали! Газа двенадцать лет как нет, а мы продолжаем поставки! Так за что, за что метка?! — С трудом приладив на нос очки, он дрожащими руками взял страшную кругляшку, покрутил и поднес к глазам обратной стороной, после чего бросил ее на стол и с видимым облегчением откинулся на спинку стула.

— И как ты, Ибрагим, столько лет с документами работаешь? — с пренебрежением произнес советчик. — Ты с изнанки-то жетон читал?

— Не, а что?

— Пудов сто! Чуть до сердечного приступа не довел! Слово там отлито, коротенькое: «контакт»! Почтальон твой черномазый, важный, очень важный, но всего лишь почтальон! Эх ты! А еще ветеран! Иди уж, обеспечивай контакт, а вот если не обеспечишь, тогда могут быть и последствия, и санкции, и трибуналы.

Сучианин, еще не веря своему счастью, осторожно взял злосчастную бирку и, сощурясь, уставился на спасительное слово.

— Господи, почтальон! И как же это я, сова старая, не доглядел! Может, и впрямь на пенсион пора?

— Кому на пенсион? Гляди где в другом месте такое не ляпни! Ты что, девиз забыл: служить, пока

ноги ходят, а руки носят. Иди, доступ к телу обеспечивай, хотя трудновато будет в такое время! — Он глянул на часы: — Ого-го, начало второго. Сиятельство уже, поди, закатилось за какую-нибудь снежную вершину.

По всему было видно, что в свою канцелярию возвращаться ему было неохота, и Ибрагим Иванович тянул время, да и после таких нервов он был непрочь немного почесать язык. Они, пожалуй, вдвоем и остались из древних на своих местах, а нынешние так, мелюзга, кивка одобрительного не достойны, не то что слова. Конечно, Владисур был не сахар, да и сам Ибрагим не из добреньких да покладистых, ох и попускали они друг дружке кровушки, пока не состарились, не притерлись да и, чего уж греха таить, не приворовались. Важное, кстати, дело при слаженной работе в команде, без него никакие великие проекты в масштабах страны не идут.

— Что, Иваныч, не тянет тебя, я гляжу, к гостю-то?

— Ох, не тянет! Как представлю его рожу заокеанскую... А я еще ему три госпоцелуя отпустил! Тьфу!

— Да ладно тебе! — удерживая раздосадованного приятеля и примирительно хлопая его по плечу, произнес Джахарийский. — Садись, чайку сгоняем, а почтальона твоего пусть стражники да Катька опекают.

— Катька без команды опекать не станет, хотя кто знает? Чаек-то я ей из правильной баночки велел заварить, небось и сама хлебнет, не удержится.

— Ну видишь, все к лучшему. А с чайком да с Катькой дело может не только до утра, но и до меж-

дународного скандала докатиться и притом, заметь, без нашей с тобой помощи. Так чай или чего покрепче?

«Друг ты мне, конечно, друг, но коньячок я с тобой в рабочее время пить не буду, — одобрительно улыбаясь коллеге, подумал Ибрагим. — Хренушки! И главное, это же он на автомате, по себе знаю. И в мыслях ничего дурного не держишь, а оно уже само собой, по-накатанному, выходит. Профессионализм, куда от него денешься! Вон отставники-опричники жалуются: как выпивка какая приличная, сразу на близких донос накатать тянет, а порой и того хуже — на себя самого анонимки строчат! Вот как она, царева служба, в мозги да в привычку въедается», — а вслух произнес:

— Спасибо тебе, и рад бы коньячку хлебнуть, да сердчишко расшалилось. Как знаешь, а я вот дождусь, пока Сиятельство вновь взойдет на свое всенародное служение, и подам прошение. Хватит, невмоготу. А ты еще послужи, ты ж годков на восемь, поди, моложе?

— Не люблю я твоих упаднических причитаний, — разливая чай из хитрого агрегата, покачал головой Владисур. — Ты думаешь, мне все это не надоело? Тебе-то легче: график, встречи, доклады, визиты, жизнь какая-никакая, а у меня... Ты даже не представляешь себе, что за народ на окуемах да улусах сидит, бандит навроде того же Макуты — агнец Божий по сравнению с этими губернаторами! Как еще Держава держится, хрен его знает. Может, с боков подпирают, вот и не разваливаемся. Ты глянь кругом: ничего своего, все чужое, даже бума-

га туалетная. Вот сейчас трубят, мол, дожились, наконец-то пшеницу за рубеж продаем! Все в восторг приходят, а то, что булки да печенюги, из нашей же муки испеченные, нам в обратку втридорога продают, это никому невдомек! А с курултаем что творится! Ибрагим, да не зыркай ты так на меня, не зыркай! Знаю, что моя вина, но ты представляешь: как собирали подушно с «бизнесов» на выборы, так и гребут. Нести-то нам совсем перестали, а намекнешь — дурака включают. Какой, к хренам, они народ представляют? Миллионеры и миллиардеры во втором да в третьем поколении. Боюсь, уйду, продавят они закон о наследственных депутатских мандатах. А сейчас, ты только глянь что творится: на заседания не ходят, карточками для тайного голосования торгуют!

— Да быть этого не может, они же персональные, карточки, сам видел! — отставляя тонкую японскую чашку, воскликнул канцелярист.

— Ну и что толку?! Я даже приказывал к руке приковывать на тонкую цепочку — не помогает!

— Да как же это возможно?

— Хочешь недельку-другую побыть народным курултайцем — плати евротаньгу хозяину карты и заседай на здоровье, протаскивай себе закон или поправку. А в быту что творится — слуг понанимали, каждый охраны до батальона имеет, в кабинетах золотые биде понаставили, в приемных целые гаремы содержат. Фракция на фракцию войной ходит, за год закона три примут — и все, а остальное время в футбол или покер режутся да по заграницам шастают. Да ты и сам все знаешь...

— Ты уж заговариваться стал, — отхлебывая по старинке из блюдца чай, возразил Ибрагим, — откуда у нас фракции взялись? Их, почитай, лет сорок как позакрывали, у нас с твоей же подачи сплошная эра суверенной демдиктатуры наступила! Забыл? — не без удовольствия поддел он друга.

Собеседник вскочил и, не выпуская из рук литровую кружку *«Я — красное сердечко — народ»*, забегал по кабинету.

— Все извратили, суки, изолгали, опошлили! Фракций нет и сейчас! Они нам исторически противопоказаны, от них одна смута и говорильня. Прошлое чему учит? Свободнее всего жилось только крепостным, заметь, беззаботно жилось. За сорок лет торжества моей идеи только самую малость былого воскресили, а народу-то сразу лучше стало! — Он на мгновение замер в монументальной позе, как перед фотообъективом. — Но враги не дремлют, фракция у нас одна — как была, так и осталась — гербовая, медвежья. Но ты даже не представляешь, сколько этих ведмедей развелось на мою голову: и белые, и гималайские, и какие-то пятнистые, а недавно узкопленочные выделились в сумчатых, в коал, прости господи!

Раздался звонок. Советчик нехотя прервал пламенную речь и снял трубку. Внимательно послушал, пару раз глянул на своего собеседника и, опустив на рычаг желтоватое допотопное слуховое устройство, на котором был изображен еще двуглавый орел, таинственно замер.

— Случилось что? — обжигаясь горячим чаем, засуетился Ибрагим.

— Надо бы тебя помучить, — присаживаясь, произнес старый иезуит, — да так уж и быть, поберегу тебе сердчишко. Полный порядок с твоим пиндосом. Катька твоя, золото-баба, ухайдохала афроюсика! Тот ей на сохранение пакет секретный отдал, у тебя в сейфе заперли, а сейчас они в спецособняк для высоких гостей отбывают. Ну, будешь коньячок-то?

— А черт с ним, с сердцем, накатывай!

Выпили, посидели молча, прислушиваясь, как горячая волна пробежала по нездоровым дряхлеющим внутренностям.

— Говоришь, коалы? Да пусть их! Все равно, если как следует цыкнуть, они быстро урезонятся. Гнобить их надо постоянно. А вот мне завидовать — это ты зря. Какие визиты и встречи, когда державные поцелуи и те приходится самому раздавать, отчеты потом замучиваешься писать! График работы один и тот же уже лет восемнадцать: каждое утро доклад по сводке, сведения по курсу валют, последние спортивные достижения, у нас и в мире. Все. Тридцать минут работы с калькулятором. Звонок в банк, два звонка Всемирным и — конец рабочему дню. Бумаги, сколько ни подсовывал — не читает. Как оставлю стопочкой, так стопочкой и заберу. Только на третьем году преемничества мне его жена шепнула, что он ни читать, ни писать не умеет. Вот такие пироги! Тут поневоле с тобой согласишься: минули добрые времена, цинизм кругом и вырождение. Опричники совсем обнаглели, сами себе хреначут указы, даже у меня в канцелярии не всякий регистрируют. Позор! А ты говоришь, служи!

Случаются такие всплески-заскоки у стареющих чиновников. Не то чтобы совесть заела или прозрения какие открылись, скорее накипело, под самое горло скверна поднялась, внутри держать мочи нет, вот и назревает необходимость опорожниться, чтобы кровь дурная в голову не ударила. В молодые и зрелые годы на такое фонтанирование чиновный люд редко идет, чревато последствиями, а по старости, когда все уже приобретено и припасено, иной раз случается, особенно среди близких друг другу людей. А чего опасаться, когда ты сам еще кое для кого опасным можешь быть, да и для здоровья, колдуны рекомендуют, кровь остывающую погонять, что-то навроде девки молодой после бани.

— Эко тебя проперло, — разливая коньяк, с сочувствием отозвался Джахарийский. — Понимаю я, брат, твои порывы, да не смотри ты на меня букой: куда, а главное, кому я пойду на тебя стучать? Солнцу? Так оно, кроме себя, никого не видит и не слышит. Опричникам? Так они такую цену заломят за соблюдение державных интересов, что и рад не будешь. Старые верные псы трона, что нам с тобою делить? Ты хоть веришь мне?

— Верю, верю, а кому мне еще верить остается, как не тебе? — отозвался Ибрагим Иванович, а про себя подумал: «Черт пусть тебе верит, но и бояться мне тебя нечего, сам в говне по самые уши». — Давай-ка, знаешь, за нашу с тобой боевую молодость выпьем. Помнишь, какие денечки были? Что ни миг, то — эпоха! Но все куда-то подевалось, все перевралось, испоганилось. Тут ты прав. Кто бы мог подумать, что все так обернется?

— Давай, друг, чего рюмки зря держать! Нам за свою жизнь не стыдно, мы о лучшем для народа мечтали, а что все дерьмом обернулось, так сам народ и виноват.

Выпили. Помолчали. Кто знает, что в эти мгновения промелькнуло в памяти? Но уж точно не картины нищеты и поруганности народной, не миллионы умерших и неродившихся людей, чьими жизнями они мостили дорогу в светлое будущее, всеми силами проталкивая свои бредовые идеи. У нас так всегда — счастье народное на костях, слезах и страдании самого народа, а достаток и сытость сограждан оценивается по внешнему виду ближнего круга. Есть такая старая народная примета: чем крупнее бриллианты на женах чиновников, тем мельче картошка на столе у подданных. Лукавые статистики плюсовали в одну кучу доходы миллиардеров, миллионеров, богатеев и нищеты, делили все на количество жителей Сибруссии без учета ханьцев, бродяг и беспризорников и получали вполне приличные показатели, с которыми не стыдно и в люди выйти. Одно время народные избранцы пытались даже протащить через Великий Курултай законопроект, предлагающий считать народом державы только тех граждан, чей совокупный годовой доход превышает миллион долларов. Насилу заблокировали! Видите ли, им совестно даже мысленно стоять в одном ряду с оборванцами. К слову, и у нас, и в Объевре давно уже ходила единая валюта — «евротаньга», однако депутаты считали все по старинке, в давно не существующих деньгах — почерневших ЮЭСах.

— Подумать страшно, сколько всего прошло! — первым прервал затянувшееся молчание Ибрагим. — Все куда-то летим, воюем друг с другом, а времени-то на жизнь, гляди, и не осталось. Мне за восемьдесят, тебе чуть меньше. Коснись чего, и за гробом идти некому будет. Конечно, солдат и студентов понагонят, одних за пачку махорки, других за банку пива, но что ж... Плакальщицы из Большого крепостного театра отголосят, может, из пушки пальнут, если порох кто проплатит, — и все. Ты сегодня, при нашей еще жизни, попробуй отъехать километров пять за оградительные стены столицы и назови наши с тобой фамилии — хрен кто и ухом поведет. Наливай еще по полной!

— Вот это я понимаю! Давай сегодня нажремся с тобой, как встарь, хоть и невеселая у нас пьянка, Иваныч, получается. За тебя, друг мой лютый, — всякое промеж нами бывало. За жизнь нашу, — а что поделаешь, закон курятника: пока до верхнего шестка доберешься, весь в помете будешь, зато сверху гадь на кого хочешь. А мы вот с тобой уже сколько лет на шесте, и никто, никто нас отсюда не сковырнет! — Он первым опрокинул свою рюмку, крякнул и, закусив ломтиком южноамериканского континентального яблока, продолжил: — Обидно, аж вот тут слезы стоят, — он рубанул ребром ладони по горлу, — когда мы с тобой придумывали Преемничество, разве таким его представляли? Мы о народном спокойствии и благополучии пеклись. Защищали его от пройдох и демагогов, народные деньги берегли, покой в государстве! А что к середине века получили? Разве для того с таким трудом прививали безнародные всеоб-

щие выборы, внедряли молчаливые дебаты кандидатов на телевидении, искореняли плакатоманию и все эти листовки — атавизм подпольных войн и народничества? Есть один огромный баннер на развалинах недостроенного публичного дома в центре столицы, и хватит. А каков итог? Преемники обмельчали, с нами, отцами-основателями, не то что не делятся — не советуются. И к людям перестали выходить, фото для газеты не допросишься, чтобы подданным доказать, что сегодня уже не Шестой Преемник на троне, а Седьмой, и основной закон соблюден...

— Да и черт с ним, с этим народом, — перебил его канцелярист, — за себя обидно. Служишь-служишь, а ни слова доброго, ни нагоняя праведного. Ровно мыши: утром шмыг за стенку, часа три шушу, му-шу и невесть куда канут, а время придет, приводит такого же, серенького да незаметненького: вот он, мой продолжатель! И лепи из него Августейшего Демократа! Где они только друг друга находят, будто всех по одному шаблону кто строгает... А ты говоришь, коалы!

17.

Незадолго до того как за горой раздались приглушенные расстоянием выстрелы, Макута-бей сидел с Сар-мэном на террасе и допрашивал вконец оробевшего Юньку.

— Так говоришь, старик туману напустил, и все стали для моих людей невидимыми? — прихлебывая чай, вопрошал атаман.

— Воистину так, хозяин. Нас перестали видеть, а в туман они зайти не могли, что-то их не пускало. Потом, пока конники вокруг гарцевали, мы в энтом туманце к ладье пошли. — Парень будто споткнулся и замолчал.

— Ты это... все как на духу говори, а то башку и тебе, и твоей крале сверну! Смотри у меня! — погрозил Сар-мэн своим здоровенным кулаком.

— Да нешто я не понимаю? У нас, у Званских, и привычки к вранью нет. Матушка-господница это качество начисто отбила. Так вот, двинулись мы к кораблю этому...

— Уж так и кораблю? — перебил его Макута.

— От те истинный шестиконечный крест, атаман! Борта высокие, я до краю едва дотянулся, а иных и вовсе подсаживать пришлось. И что чудо-то — воды по щиколотку, а така махина плавает, что малое утятко.

— Погоди-ка, бей! А чего это ты запнулся, правдивец званский? — опять вмешался Сар-мэн.

— Да вот из-за этого, атаман, — молодой разбойник достал из-за пазухи небольшой сверток какой-то странной материи.

Повертев в руках эту невесомую не то марлю, не то паутину, попробовав ее порвать и чуть было не порезавшись, Сар-мэн протянул лоскуток Макуте.

— Железная она, что ли? — дуя на сгиб ладони, пробурчал он.

Макута долго с интересом разглядывал диковинку, попробовал ее на зуб, понюхал, осторожно подергал, достав нож, попытался разрезать, наконец, положив на небольшой чурбан, невесть для

чего стоявший рядом со столом, достал свой допотопный пистоль с глушителем и дважды стрельнул. Одна пуля вжикнула рикошетом и ударилась в стену, а вторая, разбившись в лепешку, упала на пол.

— Едрен пирамидон! — забирая волшебный плат, произнес предводитель. — Отменная штучка, где взял?

— Трофей, — понуро произнес Юнька, в душе проклиная себя за то, что профукал такую диковину. Надо было сразу Дашке отдать, да пожадничал, хотелось повыгоднее продать, чтобы на свадьбу денег хватило. Да и невеста хороша: как углядела полотно, аж зашлась вся, дескать, блузку себе из нее сконстромолю. Блузку! Из нее латы впору ковать.

— Трофей, говоришь? — переспросил его бей.

— Да какой трофей, когда он еще ни в одном деле не был! — взорвался, дивясь наглости подчиненного, Сар-мэн.

— А у камня, там что, не дело было? — стоял на своем Юнь. Он хоть и зеленым еще был бандюком, но уже доподлинно знал, что, по священным воровским понятиям, трофей силой не отнимается, а может быть только выкуплен.

— Ну и сколько ты за него хочешь? — не обращая внимания на Сар-мэна, поинтересовался старший.

— Много, — потупившись, промолвил парень, — мне скоро жениться, а дома — вошь на аркане. Так что считайте: деньги на избу — раз, на хозяйство, корову и прочую животность — два, на приличную свадьбу — три, и на выкуп — четыре.

— Совсем оборзел, щенок! — взвыл Сар-мэн. — Я те счас дам и откупа, и закупа, и телок с хряками впридачу! Ты у меня...

— Сар-мэн, — остановил его вожак, — что это ты, ровно премьер, лаешься? Правильно парень считает. Хорош, я на твои условия согласен! Будет тебе и хозяйство, и вольная, и еще сверху от нас с твоим атаманом.

Не понимая, куда клонит старший, Сар-мэн на всякий случай согласился.

— Тогда по рукам! Так откуда у тебя вещица?

— Когда к кораблю бегли, у одной девы, что с дедом приплыла. Я сперва думал отдать, а с перепугу забыл. Мы это, в посудину залезли, и она поплыла, да шибко так, не глядя, что против течения! Я и глазом моргнуть не успел — а перед нами водопад, исток Бел-реки. Скала там высока, ну, думаю, кердык нам пришел!

Было видно, что парень не врал, побелел даже от воспоминаний, замолк, губы только шевелятся.

— Ну и чо ж ты язык прикусил, гутарь дале, — понудил его Сар-мэн.

— Тяжко гутарить, слова шепчутся, а звуков никаких нетуть. И в ухо будто кто шепчет: молчи, молчи! Не могу г*о*вор изо рта пустить, не лезет.

— Ты дурку-то не танцуй, сам говорил, пещера там с Шамбалой,— строго напомнил младший атаман.

— Говорил, а ныне не можу. Запрет на меня какой-то лег.

— А почем ты взял, что вы в Шамбалу попали? — негромко спросил Макута.

— Само как-то в голову втемяшилось. Я прежде и слова такого не знал.

— А назад как выбрался? — уже строже вопросил вожак.

— Всего не помню, мот, и помню, да уста связаны. Одно токи знаю, что очухался в воде пред водопадом, и эта кисея на мне висит, — ткнул он пальцем на свой трофей.

— Это уже кой-чего! А ну-ка, Сар-мэн, накинь на этого онемелого плат да пихни его, что есть мочи, вот в эту закрытую дверь.

Проделано все было быстро и молча. Юнька с диким воплем полетел на толстенную дубовую дверь, но вместо того чтобы зашибиться насмерть, вошел в доски, как нож в масло, и его истошный вопль уже слышался изнутри избы.

Сар-мэн дернул на себя ручку — недалеко от порога на полу лежал Юнь, удивленно глядя на атаманов. Он был цел и невредим.

В это самое время за горой и послышались выстрелы.

— Что у тебя за пальба в лагере? — сдвинул брови Макута.

— Счас разберусь, — весь побелев, Сар-мэн бросился к тропе, по которой недавно ушли прогуляться влюбленные.

Впереди и позади атамана бежали разбойники, лязгая затворами разномастного оружия. «Неужели эта дура поперлась к пещере? — колотилась в голове одна-единственная мысль. И надо же ему было ночью, после бурных ласк, предположить, что второй лаз в эту, черт бы ее подрал, Шамбалу находится под

большим синим камнем в той странной пещере, что разверзла свою черную пасть с другой стороны горы, где прилепился его дом. А что ему оставалась делать, эта стерва подслушала часть его разговора с Юнькой, где тот хвастал, что знает, как проникнуть в потаенную страну! Не рассказывать же ей правду. Хотя и про пещеру он зря поведал, там действительно был тайный лаз, и не только в божьи чертоги, а в его дом. Открыл его еще покойный отец, когда обустраивал под горухой свое зимовье. Там, в этом сумрачном лабиринте, в укромном месте было припрятано и фамильное добро, добытое и отцом, и сыном. Был там, в срединной пещере, и странный камень, который иногда вроде как светился. Батя засыпал его землей от греха. Словом, непростая была пещерка, поэтому денно и нощно на тропах, ведущих к ней, дежурили верные Сар-мэну люди, имевшие строгое указание стрелять без предупреждения. Местные это знали и на заповедный откос носа не казали.

«Вот дура! А что дура, сам хорош — наплел девке с три короба! Будто не знаешь ее вечную тягу к авантюрам. Сам виноват, ты ее и подтолкнул к этой чертовой норе, будь она неладна! Ну, сумасбродина, останься только жива, на жопе живого места не оставлю, хватит мне с тобой цацкаться!»

Он любил эту странную и взбалмошную женщину, любил давно и трепетно, еще со студенческих времен, когда батя вытянул его из соседней банды и погнал в Объевру на учебу. Старик считал, что приличный бандит без Сорбонны — дремучий лох, сам-то он в свое время с отличием закончил академию госслужбы при Президенте, как тогда имено-

вался Преемник. Скрепя сердце, он исполнил волю родителя, хотя даже по прошествии времени так и не смог понять, помогла ему эта учеба в жизни или нет. Помнилось только одно: вернувшись к разбойному промыслу, многому пришлось учиться заново, а главное — привыкать к свободе. Гопс со своей свободой никогда не расставалась и порой вытворяла такое, что ему, взрослому мужику и отъявленному негодяю, становилось неловко.

Сар-мэн остановился. Навстречу по тропе спешила небольшая ватага. Впереди, шатаясь, шел Енох, неся на руках Эрмитадору. Руки и ноги женщины болтались, словно тряпичные, Маша поддерживала ей голову и все время что-то говорила. Атаман выставил вперед свои крепкие руки, готовый принять дорогой ему груз.

— Мэн, осторожно, она очень слаба! Врач нужен срочно, может, еще и спасем, пуля прошла навылет. Голову, голову поддерживайте! Говори, говори с ней, Сар-мэн, она тебя все звала, просила, чтобы ты отнес ее на какой-то синий камень.

— ...На камень, на камень... Они спасут меня... прости, прости! — еле шевеля губами, шептала девушка.

— Сейчас, сейчас, маленькая, сейчас будет доктор... — в отчаянье шептал Сар-мэн.

— Не надо доктора... на камень, на камень, Сармэнчик, миленький...

Доктор в банде был. И не один. Но спасти Эрмитадору они не смогли.

— Чудеса не по нашей части, — осмотрев раненую, произнес старенький лекарь, вытащивший десятка три разбойников с того света. — Странно, что при такой ране она еще подает признаки жизни...

Сар-мэн часа два сидел возле остывающего тела и все никак не мог заплакать. Спасительные слезы не шли, а в ушах стоял Эрмин шепот: «Отнеси меня на синий камень, они меня спасут...» Никто не решался трогать понурого и, казалось, обратившегося в изваяние атамана. Наконец пришли местные старухи, завернули ее в холсты и унесли с причитаниями и только им одним понятным воем.

Даша опоила хозяйку каким-то зельем, и та спала глубоким сном, крепко уцепившись за руку Еноха.

Макута о чем-то негромко говорил на террасе со старыми бандитами или уходил подальше секретничать с посыльными, что прилетали к нему с разных уголков окуема. Смерть городской оторвы, выбившая из седла Сар-мэна, спутала все карты бею, он был угрюм, замкнувшись на своих невеселых мыслях. В иное время можно было и три, и девять, и все сорок дней дожидаться возвращения к нормальному состоянию вожака местной ватаги, но сегодня не то что день — каждый час был на счету. Посыльные докладывали, что по чулымскому краю шатается масса пришлого люда, и все выпытывают у местных про Шамбалу. Отдал приказ грабить чужаков нещадно, но живота не лишать. Дедам да бабам, которые сказы сказывают, было велено все местные байки про потаенную державу

переиначивать на ханьский да чорский лад и направлять в те, совсем небезопасные места. Дошел даже слух, что по железной дороге гонят чудо-технику, которая подземные ходы якобы чует. Добром такая всеобщая упертость в наши горы не кончится. Это тебе не бескрайние Гималаи или Памир, ежели возьмутся как следует, докопаются, а уж сейчас и подавно, с пацаном этим сколько мужиков было, а ежели их всех выпустили, звона в округе будет хоть уши затыкай.

О той скале, где с водопада начинается Бел-река, много интересных историй народ рассказывает. То огни там какие-то видели, то разных человеков, и маленьких, и огромадных. Ворожеи и шаманы со всего окуема там сбирались, неделями жили, огни жгли, в бубны били. Еще мать-покойница говорила, что, ежели набрать в какой-то день воды из водопада да поставить ее в глиняном горшке перед рукотворной свечой, в безлунную ночь многое можно увидеть в этом горшке, беду или опасность отвести. Макута это по себе знал. Не однажды его выручали материнские предостережения. Только вот сам он чего-то на воду смотреть опасался.

А водопад тот хорошо помнил еще сызмальства. Камень под этим водопадом странный был, огромадный, гладкий и голубой. Тогда им, пацанам, казалось, что камень тот будто теплым был, докупавшись до посинения, греться они порой не на солнышко выбирались, а наоборот, поднырнув под летящую сверху воду и взлезая на длинный черный камень, над которым как раз и располагался тот, теплый, голубой. И зимой, в самые лютые морозы

вода лилась такой же широкой лавиной, и края особо не обмерзали. Словом, было что-то в этом месте необычное и даже страшноватое. Не только ворожеи, но и многие из окрестных селений туда в полнолуние за водой ходили, целебной, как старики утверждают.

После стрельбы да после того, как не один Юнька из того подземелья выбрался, вся округа про водопад говорит, посыльные доносить не успевают. Конечно, баек на эту тему и до стрельбы хватало. Почти в каждом селе и улусе есть люди пропадавшие, а позже находившиеся, они, как правило, со временем юродивыми становились, не сподручными для повседневной жизни. Отчего так происходило, никто разгадать не мог, а сами они помалкивали.

— Где этот Юнька? Приведите сейчас ко мне! — Атаман зашел в светелку, решив получше рассмотреть выкупленный трофей, но на месте его не нашел.

Что за чертовщина? Атаман озадаченно поскреб седой затылок.

Перевернув все в своей переметной суме и не обнаружив пропажи, он с раздражением пнул кожаный мешок ногой.

«Ну и дела, выйди и расскажи кому-нибудь, что Макуту-бея обчистили, как затрапезного мужичонку, — засмеют. А нет ничего более коварного для держателей власти и громких титулов как пренебрежительная ухмылка, и коль такое случится, можно на атаманстве крест ставить и идти на пасеку, не дожидаясь, пока в спину пнут. Что за разбой-

ничий вождь, коли его обобрали чуть ли не в собственном доме! У Сар-мэна ничего не дознаешься, у них с покойным папашей печаль по бабам наследственная. Тот тоже, помнится, влюблялся в кого ни попадя, а потом неделями страдал, если избранница рога наставляла или вдруг исчезала бесследно.

Ладно, разберемся. Чужой в дом зайти не мог, а свой поостерегся бы в мою суму соваться! Непонятный какой-то вор меня облапошил. Суму не взял, хотя там всякого добра полно, а кус материи невзрачной тиснул. Вот и выходит, что сделал это Юнька, больше некому!»

— Митрич! — позвал бей, выглянув на террасу. Верный нукер всегда был рядом и, хотя были они с атаманом одногодки, выглядел намного моложе. Небольшого росточка, сухой, поджарый, подвижный и гибкий, как рысь, он неотступной тенью следовал за хозяином, готовый в любое мгновение прийти на выручку. — Узнай, где Сар, в каком состоянии, только тихо, неприметненько. И сыщи того мальца, с коим мы сегодня здесь разговаривали, пока вся эта катавасия со стрельбой не затеялась. И ко мне его, но тоже без лишней суеты... — Макута запнулся на полуслове и прислушался: в поселке, где располагались жилища разбойников, что-то явно стряслось — в голос вдруг завыли бабы, стали материться мужики. — И с этим переполохом тоже разберись! — махнул ему рукой, выпроваживая.

Не успел Митрич двинуться выполнять поручения, как к крыльцу подбежала, отбиваясь от пытающихся ее задержать бандитов, перепуганная баба.

Увидев бея, она упала на колени и заголосила противным голосом:

— Батюшка, не отдай на поругание тела убиенных! Не по-божьему это и не по-каковскому! Останови, уйми...

— Тихо, женщина! Не перестанешь блажить, велю выпороть и в ручье охолонуть! — приняв разинскую позу справедливого судьи, изрек Макута. — Митрич, дай ей воды!

Пока несчастная стучала о края кружки зубами, преследовавшие ее мужики, один из которых оказался мужем, а второй родным братом, невпопад, перебивая друг друга, принялись объяснять главарю, что там, у них в поселке, приключилось.

— Бабы все всполошились, а заводилы — старухи, некоторые волосы на себе дерут, а он ее схитил... — блажил брат таким же противным, как у сестры, голосом.

— Да никого он не исхищал! — вклинился басами муж, по фигуре и повадкам полная противоположность шурину. — Он ее сам решил схоронить, оттого, что любовь в нем еще...

— Нехристи, супостаты, кары на вас нет! — не выдержала женщина. — Кака така любовь, коли тело уже остыло и погребения требует...

Из поселка все подходил народ. Страшась атамана, шли молчаливо, бочком, насупленно, только бабы негромко скулили и всхлипывали, уткнувшись в спины мужиков.

«Только мне смуты сегодня и не хватало!» — подумал Макута, оценивающе всех оглядывая.

— Так, вы, трое, с глаз моих вон! Вот ты, старая, — он ткнул пальцем в стоявшую с краю высохшую и сгорбленную временем старуху, — подойди ближе, мать. Чья будешь?

— Пуркина я! Вдовствующая атаманша, мать бандита, дочь бандита, бабка бандита и прабабака бандитская.

— Ну, здорово, честн*а*я жена, почет и уважение твоему роду, выходит, я когда-то у отца твоего, Гульсараса, в подручных хаживал.

— Может, оно и так, атаман, только не по-нашенски ныне твой любимец Сар-мэн поступил! Нехорошо это, и люди все видели.

— Да что ж это вы меня ныне мутузите! Что стряслось-то у вас, почто такой переполох? Где Сар-мэн?

— Не крути головой, ватажник, нет его среди нас! Небось в укромном местечке твой любимец со своими подручными, а что они там вытворяют с телом бедной бабы, одному Господу известно, — народ за ее спиной неодобрительно загудел.

Не любил Макута этого шуму, а потому, не перебивая старуху, грозно поднял вверх руку.

— Токмо мы обмыли девку, обтерли маслицем пахучим и обряжать собрались, яко двери баньки настежь — и атаман ввалился, на всех волчьими очами зыркнул, накрыл девку какой-то тряпкой навроде марли, взвалил на себя и ходу. Мы в крик да за ним, а там двери подперли. Все-то воют, а я к оконцу, гляжу — трое их: охальник наш, пленник, что в Чулым наместником послали, и еще один мне незнакомый, сказывают, холоп Званский. Вот они и уволокли...

— А куды? — удивленно воскликнул атаман.

— Да суды, к задам энтого дому! — указала морщинистым пальцем старуха.

— Митрич, троих с собой и обшарь жилище! Кого найдешь, ко мне. А вы, честной народ, расходитесь, оставьте старуху Пуркину и двух-трех десятников, ежели что важное будет, в набат кликну.

Толпа, хоть и нехотя, стала разбредаться, и минут через пять у крыльца, словно сиротливые листвяки, остались лишь те, кому велено было остаться.

— Ну чо вы там как неродные третесь, подымайтесь ко мне да присядьте, — устало поднял руку атаман. — С чего ты взяла, что для надругательств атаман девку уволок?

— Да он, как заграбастывал ее, все шептал: прости, прости, мол, не долюбил я тебя, потерпи малешко, все исправлю... Умом, видать, тронулся, а тех двух силком принудил!

Хоть одно радует — накидка нашлась, прикидывал бей. Остальное никак в голове не укладывалось. Зачем Сар-мэну труп девушки? Что значат его слова про то, что он ее долюбит? И главное, где они? То, что их в доме нет, он был почти уверен. Уж не такие это хоромы, чтобы в них можно было затаиться. И потом, как человек тайги и гор он бы обязательно их учуял, будь они здесь.

Через какое-то время прибежали запыхавшиеся бандиты:

— Пусто, атаман!

— Бесовщина какая-то! Берите выборных, еще раз обшарьте все, с подвалов до чердака! Ищите, люди видели, они в дом побегли, ищите, мать ва-

шу! — Макута раздраженно топнул ногой и онемел. Из горницы, откуда только что вернулись после безрезультатных поисков его люди, вышли осунувшийся, какой-то загадочно просветленный Сармэн и два его подельника.

— Где девка? — севшим от неожиданности голосом спросил атаман.

— Похоронил, как она меня просила, воля у ней такая была, — устало ответил разбойник, — они свидетели. Ты, мать, извини, что я вас там всех напугал, — обратился он к старухе, — на вот, возьми и со своими товарками поделись. — Он положил на стол несколько золотых монет. — Только мужиков особо не поите, вишь, начальство здесь, да расслабляться нам сейчас никак нельзя.

Бабка ловко смахнула деньги, недоверчиво глянула на окружающих и вышла вон. Вслед за ней подались и разбойники, пожимая плечами и покачивая головами. Никак не могли они взять в толк, как из дома, где никого не было — они это точно видели своими собственными глазами — могли выйти трое взрослых людей. Как?

18.

— Ваша Всемирность! Опять полный беспорядок в этой стране, — на чистейшем американском наречии докладывал кому-то по телефону Джахарийский. — Вашего посланца, посредством женских чар и чародейных грибков, совратили с пути истинного, и он в настоящее время развратничает с

секретаршей Сучианина, который, я давно вам сигнализировал, является тайным алкоголиком и вконец разложившимся, преотвратнейшим типом. Особо хочу подчеркнуть: в последнее время, впадая в старческий маразм, он становится прямой угрозой всемирной демократии. Я уж молчу о его неблаговидном влиянии на нашу действительность, на внутренний мир Августейшего Демократа и всей лекторальной зоны. Доколе, Ваша Всемирность, терпеть мы будем супостата! Вкруг него вьются нездоровые силы, реакционеры, милитаристы, а у нас как-никак от тоталитаризма остались три ракеты и восемь ядерных боеголовок. Отметьте, я лично, подвергая жизнь опасности, как мог, портил там все подряд. В последний раз я на ржавом крыле ракеты алой губной помадой написал: «Да здравствует демократия!» — а до этого разрисовал пацифистскими граффити стену в одном из помещений штаба. Извините, извините, более не стану уклоняться... Что-что? Известно ли содержание посторонним? Чего не знаю, того не знаю, но я... Але... але! Трубку бросил! Неблагодарные люди управляют миром! В былые времена они так с нами себя не вели. Преемников регулярно людьми года нарекали, премии миротворные выдавали, и нам, недостойным, перепадало...

В эту самую минуту Владисур наконец сообразил, что продолжает говорить в пиликующую гудками трубку. Мертвенная бледность покрыла его лицо, на лбу выступил холодный пот. Голова закружилась, он на мгновение представил себе последствия, которые неотвратимо наступят, если опера-

торы той стороны не отключились вместе со Всемирным. Это конец! Отчетливо представив себе изгнание из власти, что для всякого чиновника страшнее смерти, царедворец лишился сознания.

Ибрагим Иванович пил чай с заморским посланником, источая всем своим естеством такую подобострастность, что не только человек, а и неодушевленные предметы лучились ему в ответ. Послание Высочайших, тайно извлеченное Екатериной, было уже передано Пафнутию Смитовичу. Прорезиненный и профольгированный конверт с подачи добрейшего канцеляриста был вложен в прекрасную кожаную папку с оттиснутыми на ней картинами крепостного быта, напылением чистейшего золота и в драгоценных каменьях.

— А папочку после аудиенции оставьте себе как приятный пустячок на память о посещении Августейшего Демократа и нашей гостеприимной страны, — вкладывая в нее конверт, пояснил столоначальник.

Пафнутий, хоть и продолжал еще видеть мир исключительно сквозь прорезь Катькиных грудей, подарочек оценил и посему воссиял искренней симпатией к стражу августейшего входа.

Вдруг произошло едва заметное движение воздуха, и Сучианин напрягся, словно пружина. Появление в тронном кабинете первого лица государства он чуял всем своим естеством, приводя тем самым в смятение не только охрану, но и самого Преемника.

— Ну, вы уж тут с Катенькой допивайте, а я на доклад, на доклад...

И только зазвонили куранты на единственной, сохраненной по требованию ЮНЕСКО главной башне Кремля, а на них отозвались все колокола церквей, соборов, храмов, гонги и трещотки дацанов, сквозь треск динамиков воззвали к небесам минареты, о вечном забубнили синагоги, в горны затрубили «Идущие Наши», в Охотном ряду на все лады зарычали медведи, из миллионов громкоговорителей над землей разнеслось: «Слушай, страна! Благодать над тобой воссияла! Сеятель вечный, Преемник народный, взор на тебя обратил...» — как Ибрагим Иванович отворил высоченную двустворчатую дверь в тронный зал демократии, миновав который знающий человек попадал в повседневные покои Вседемократа. Именно их интерьер и демонстрировали преданному народу гденадосущие служители массовых коммуникаций.

Рабочий кабинет Преемника был обставлен с подобающим вкусом, достоинством и скромностью. Немного малахита, немного золота, приличные шпалеры, добротная старая мебель, удобный, но уже потертый от времени и непосильной работы письменный стол, неизменный чернильный прибор, на правой стене обязательный по этикету портрет предыдущего Преемника — вот вроде и все, хотя нет — в дальнем углу раздвижная ширма, на шелковых створках которой изображены двуглавые державные медведи с широко распахнутыми лапами, готовые удушить любого в дружеских объятиях. Задние лапы у них были слегка поджаты, правая когтисто вцепилась в древнюю державу, в левой изящно изогнулась оливковая ветвь, обозначающая свободу, мирные ус-

тремления и всеобщее благоденствие. Передние лапы прижимали к груди большой газовый вентиль голубого цвета, на двух повернутых друг от друга головах расположились две монаршие шапки, увенчанные треугольником со Всевидящим Оком.

Из-за ширмы выглядывал угол простой железной кровати с никелированной дужкой, застеленной синим солдатским одеялом с тремя темными полосами. Иногда камера могла скользнуть и глубже, за ширму, и тогда народ, к своему удовольствию и восхищению, мог наблюдать на скромном сервировочном столике со старинным медным чайником и простой эмалированной кружкой остатки черного хлеба и оболочки докторской колбаски, недоеденный бутерброд с сайрой, а иной раз половинки луковицы, а то аккуратно обглоданный селедочный скелетик или надкушенное яблоко. И все эти остатки завтрака неизменно покоились на грубой фаянсовой тарелке с затертой синей надписью «Общепит». Да, именно так, по-спартански, на износ, не щадя сил и здоровья, трудится денно и нощно любимец народный, стопроцентно избранный Самодержавный Демократ. Может, для кого-то такие подробности пустяк, а народонаселению державы в подавляющем большинстве приятно, что у них семейный завтрак куда круче и калорийнее, чем у самого Гаранта.

Сучианин бочком и по косой вошел в кабинет, еще полный девственной тишины и спокойствия. Преемник сидел к нему спиной на своем вертящемся кресле и переобувался в кабинетные туфли. Канцелярист негромко чихнул.

— Вечно ты, Ибрагим, как привидение появляешься и меня всегда пугаешь. Скоро во второй срок этой неблагодарной пахоты войду, а вот к твоей кошастости никак не привыкну. Покажи, что у тебя за подошвы на ботинках?

— Извольте-с, самые что ни на есть обычные, отечественного производства, как вы того требуете, — согнув ногу в коленке и прихватив ее рукой, он поскакал к столу Повелителя.

— Действительно, обычные, да еще и с набоечками! А чего же они у тебя, братец, не цокают? Вот у меня, — он прошелся по кабинету, стуча каблуками о паркет, — слышишь, как стучат?!

— А моим башмакам в вашем кабинете цокать не положено, рылом не вышли, так что субординацию они знают.

— Умеешь ответить, умеешь, за что и ценю! — царственным жестом выразил свою благосклонность Преемник. — Ну давай, докладывай, я уж с четырех утра на ногах.

«Мне-то не надо загибать, скажи еще — спал вон там, за ширмочкой», — мысленно съязвил чиновник и, напустив на себя важный и серьезный вид, театральным голосом возвестил:

— Позвольте начать свой скромный доклад с приятной вести: весь ваш народ коленопреклоненно благодарит вас за то, что солнце встало над вашей благословенной страной!

— Чушь, братец, полная, но приятно, приятно! И как это ты умудряешься всякий раз отыскать новые поводы для благодарности, то за обильную росу, то за прилет грачей! Затейник, затейник! И что

там у нас далее? Только, чур, об экономике и трудностях ни слова, пусть об этом у правительства голова болит.

— Об экономике только два слова...

— Не-не, я же тебя просил!

— Полтора, для международного отчета!

— Полтора — валяй!

— У нас самая лучшая экономика в мире! Все! — на едином дыхании выпалил Ибрагим.

— Ай, молодец, ай, молодец! Дай я тебя расцелую! — засмеялся Великий.

— Ваша Всемилостивость, позвольте считать ваш поцелуй государственной наградой и занести его в свой послужной список!

— Очень дельная мысль, очень дельная, а главное, награда сия для казны стоить ничего не будет, надо бы все обдумать, ты подготовь-ка проект указца, хорошо? Что там далее?

— А далее у нас идет полная интрига против вас!

— Кто, как, каким образом?! Измена! Куда смотрят опричники? Всех, всех на дыбу! — задыхаясь от ярости, зарычал властитель.

— Извините, что с утра и с неприятностями, виноват, виноват! Доложу — можете казнить за скверные вести. Однако молчать не могу. Интригу в очередной раз заплел ваш главный советчик Джахарийский. Плетет он против вас, ой плетет! Мне, конечно, не с руки сплетни собирать, но очень уж многие о том говорят, а главное, есть такие вещи, о которых промолчать невозможно. Вот что он вчера по пьянке наболтал и о вас, и об Всевеликом Курултае, и о гербовой партии. Чтобы не быть голо-

словным, я все зафиксировал на диктофон. Извольте.

Демократичнейший всунул в уши наушники и углубился в прослушивание. Лицо его являло собой живой экран происходящих в нем борений. Надо отметить, что с записью вчерашнего разговора поработали специалисты, убрали неудобные для Ибрагима Ивановича места, а отдельные фразы переозвучили голосом Владисура, к примеру рассуждения о Преемниках.

— Подлец, подлец! Мое терпение лопнуло, я не посмотрю на поддержку Всемирных, уволю! Передай, пусть даже на порог ко мне не показывается. Все, больше ничего слушать не стану! На больничный, в горы, в санаторий!

— Никак нельзя! — с металлом в голосе произнес канцелярист. — К вам личный посланник Всевеликих с тайным поручением!

— Может, завтра, а? Расстроился я очень! Все во мне дрожит и вибрирует. Кальян мне, кальян! Нет, постой! Давай посла, он хоть в ранге?

— В ранге, ваша Вседержавность! И со скорпионьей биркой, и мною, по вашему поручению, жалован вчера троекратным госпоцелуем. Протокол соблюден. Вот краткое содержание послания...

— Ну ты даешь! Хорош! Только читай вслух, что-то глаза ломит с самого утра.

— С превеликим удовольствием! — Ибрагим Иванович с выражением, как в старые добрые времена в школе, начал читать информацию о Шамбале, мерах по ее разысканию и сохранению до прибытия Всемирных демократов.

— Ты чего-нибудь понял? Что такое Чулым? На хрена нам искать непонятно что? Дело слишком серьезное, чтобы я мог взяться за его решение. Мне надо подумать хотя бы до завтра.

— Нет, ваша Августейшая Демократичность! Сначала следует принять посланца, выслушать, так сказать, официальный доклад, а уж там что-нибудь придумаем.

— Хитер, бестия! Ну что же, так действительно неплохо будет. Ладно, давай его сюда, минут... через десять.

В канцелярии дожидался своей очереди Джахарийский. Из затертой коричневой папки предательски выглядывали проводк*и* наушников. Сучианин отметил про себя, мол, поздно, дело уже сделано, и, не удостоив вчерашнего собутыльника даже взглядом, вежливо пригласил на аудиенцию заморского гостя. Проводил в чертоги, возвратился и только после этого, не поднимая головы, холодно произнес:

— Вам, господин советник, отказано в аудиенциях до особого распоряжения.

— Ибрагим, дружище...

— Давайте официально, я скот с вами не пас! И, знаете, засуньте ваши наушники куда-нибудь поглубже. А то, я гляжу, охотников развелось меня на пенсион спровадить... Не выйдет! И совет вам бесплатный: не зовите старца Хиню и не заказывайте ему очередную чернушную книгу про злые козни смутных сил против престола, который вы оберега-

ете. Хватит, наберегли уж. Не смею больше задерживать.

Советчик, пунцовый от гнева, выбежал из кабинета и чуть было не столкнулся с Екатериной, обсуждавшей свои вчерашние похождения с товарками из других приемных. Вскорости из канцелярии вышел и спецпосланец, довольный и с золоченой папочкой под мышкой.

— Все, девки, — тряхнула кудрявой головой Катя, — побегу я к своей швейной машинке Зингер — строчит неплохо, но уж слишком быстро нитки кончаются, так что ни кайфа, ни выгод особых нет.

Ибрагим Иванович застал Гаранта старательно крутящим ручку прямого телефона министра обороны.

— Безобразие! Где министр? — повернулся он к старому советнику.

— Так он уж третий месяц как на охоту у вас отпросился...

— Да что же это за охота такая и на кого, интересно, так долго охотятся? Не понимаю я этих военных! Три месяца по лесам и полям, ужас! И откуда здоровье берется?

— Ну, это особая инспекторская охота, она затяжная и очень трудная... А зачем вам министр этот сдался?

— Как зачем? Приказ хочу отдать! — Гарант вышел из-за стола и с раздражением прошелся по кабинету. — Пусть ханьцам эти земли в плен лет на сорок отдадут. Только проверь, правильный ли тай-

ный протокол они там подпишут, а то от «поднебесников» всякой пакости можно ожидать. Скандал, конечно, грянет, ну ничего, не впервой, проморгаемся. Мы министра из министров выгоним и назначим его нашим главным лесничим, пусть по лесам шарится, пока совсем не одичает.

— С министром это вы, Ваше Величество, гениально придумали, — начал издалека заплетать Ибрагим Иванович, — хотя человек он вам лично преданный и спину всегда готов прикрыть. Вы только вспомните: когда к нам негласная проверка по разоружению нагрянула оттуда, — Ибрагим ткнул старческим пальцем в потолок, — именно он успел четыре неучтенных боезаряда из хранилища выкатить и у себя в сортире спрятать. Выходит, благодаря ему вы сегодня самый вооруженный правитель.

Знал лукавый бюрократ, куда и как надо поворачивать подобные разговоры, тем более что оборонный министр приходился близким родственником премьеру, премьер был деверем генпрокурора, а тот, в свою очередь, являлся сватом самого Сучианина, внук же Ибрагима доводился зятем Преемнику Третьему, дочь сестры жены которого была второй женой сына нынешнего Правителя. Да и вообще в высших сферах давно уже случайных людей не существовало, ежели кто кому не родня, так приятель, земляк, любовник, студенческий товарищ, дачный сосед или, на худой конец, молочный брат. Это повелось так давно, что стало уже не просто привычкой, а сутью кадровой политики. Бороться с подобными пережитками брюжневской

клановости (а именно он, Брюжнев, когда-то первым привел во власть свою команду, и с тех пор каких только команд не перебывало в Кремле!) периодически, конечно, пытались. Были этими борцами, как правило, люди обиженные, обойденные властью и чинами, пытаться-то они пытались, да что толку, только себе и вредили. А если и удавалось кого сковырнуть, так исключительно для того, чтобы на место, еще не остывшее, свою родню или знакомца усадить.

— Видишь, ты опять прав, — кивнул Преемник, снова усаживаясь в кресло. — Не следует нам отставлять верного вояку. Этого отставишь, неизвестно еще кого подсунут. Что же тогда нам с этой Шамбалой делать? Открыть-то мы ее откроем, тут, — Высочайший ткнул пальцем в депешу, — и примерное место отмечено, а вот как уберечь от растаскивания и разграбления, вот в чем заковыка! Народ, сам знаешь, дикий, кого охранять ни поставь, они первыми же переть и начнут. И ведь главное, что там, в этой пещере, скрыто, одному вселенскому Архитектору и ведомо! Ты-то сам, часом, не знаешь?

— Да откуда мне, Ваше Мудрейшество! Правда, люди разное говорят и пишут: кто о гробницах последних людей донашенской расы, которые какими-то тайными знаниями обладают...

— Масонов, что ли? — с явным разочарованием произнес Вождь.

— Да нет, братья, каменщики только ищут крупицы того, что некогда было всеобщим, — пристроившись у окна и без надобности теребя бархат-

ную портьеру, продолжил Ибрагим. — Иные утверждают, что там сокрыто хранилище древних книг, изучив которые человек может стать бессмертным, кто-то уверен, что это один из лазов в подземный мир, куда сгинула чудь белоглазая...

— Вот-вот, а налоги она, эта чудь, платит за пользование нашими земными недрами? Это уже серьезное дело, ты фискалам задание дай, пусть все недоимки взыщут, и чтобы с процентами, с процентами! Но ты мне объясни, никак в толк не возьму: из-за чего, собственно, переполох? Ну, откроется какое древнее кладбище, или полки с поеденными мышами книгами, или схрон этих, как ты их там назвал, чудиков подземных, польза нам и Всемирным от этого какая?

— Об пользе мне не ведомо, а поручение Высших сил выполнять надо. А не изволите ли вы поручить это щекотливое дельце провести по линии братских лож? Пусть-ка братья — вольные каменщики хоть однажды послужат отечеству делом, а не братской интригой. Да и наместник у вас там боевой, генерал Воробейчиков, стреляный, так сказать, воробей, простите за каламбур.

— А знаешь, братец, назначу-ка я тебя с сего дня еще и главным своим Советчиком. — И с этими словами он взял неумелыми пальцами вечное перо и вывел на пустом бланке Всенародных Указов свою замысловатую подпись. — Ну вот, теперь порядок, — любуясь завитушкой, произнес Властитель и протянул покрасневшему от удовольствия подчиненному гербовую бумагу. — Держи, текстец сам присобачишь.

Совершив сие государственной важности деяние, Всеобщее Величество встал и неторопливо подошел к окну.

— Говоришь, масонов припахать? Хорошая идея, хорошая, а то они нас пытаются учить щи варить да у посольств шакалят, вот пусть попотеют. Срочно рескрипт Наместнику... и, знаешь, непременно еще кого-то пошли туда для пущего соглядатайства! Только чтобы не из опричников, совсем псы опаршивели. Будем чистить, чистить. А бомбой было бы сподручнее... Нет пещеры и спросу нет. Можно подумать, семерочники уж больно охочи книжки читать да чужих советов слушаться. Ну, ступай, ступай...

Не успела затвориться за осчастливленным столоначальником дверь, как Правитель схватился за трубку прямой связи с грозным начальником песьих голов.

19.

Макута был поражен услышанным. Вход в Шамбалу почти что под ним! Как здесь не опешить.

— И кому эта светлая идея пришла в голову, покойницу в катакомбы запихнуть? — строго спрашивал Сар-мэна атаман, по-восточному усевшись на белой кошме, покрывавшей низенький широкий диван. Остальные, так же, как и Сар-мэн, по-

нуро стояли перед вожаком. За их спинами, прислонясь к дверному косяку, скучал Митрич.

— Его невесте, — кивнул на Еноха Сар-мэн. — Она про эту Шамбалу столько всякой-всячины, оказывается, знает, у нее подружка в тайном обществе «Праведного Беловодья» состоит...

— И где она сейчас? Пусть все мне сама и поведает, а то от вас никакого толку. Зовите ее сюда. А вообще, атаман, ничего я у тебя не разумею, кто с кем, что почем? Этого, — бей показал рукой на Понт-Колотийского, — в плен забрали с ныне покойной сорбоннской твоей зазнобой, другой невесты при господине чиновнике не имелось. Так?

В ответ раздалось лишь сопение.

— Молчите? Хорошо. В ту же ночь захватили еще двух девок — дочку барыни Званской и служанку, которая женихается с Юнькой. А он, бродяга, эту кашу с подземельями и заварил! — Вожак вскочил и хватанул Юня за правое ухо. — Верно я говорю, олух?

— Верно, гражданин атаман-баши! Ой, больно, дядечка! Больно! Пусти, пусти!

— Пусти, говоришь? Я те щас пущу! Митрич! Камчу мне! — и, выпустив ухо, принялся охаживать молодого разбойника. — Это тебе за девок! Будешь знать, как их по ночам из дома сводить! Это — за воровство чужих накидок! А это за тягу к разбойничьей жизни!.. Так где же ваша невеста? — бросив на пол камчу и по-отечески приобняв всхлипывающего Юньку, спросил атаман Еноха. — Боюсь, что о вашем сватовстве к девице Званской матушка ее

не осведомлена и родительского своего благословления не давала.

Енох стушевался. Никогда в жизни с ним так не разговаривали, разве что покойный дед, да и то в глубоком мальчишестве.

— Что молчишь, барчук? Может, и тебя камчаком угостить или для острастки велеть повесить на ближайшем кедраче? Ты не зыркай на меня, не зыркай, не я у тебя в застенке на дыбе вишу, а ты у меня гостюешь пока. Хотя, думаю, ты бы ко мне в застенок побрезговал спуститься, счел бы, что не по чину. Так где барынька Званская? Ты что, оглох со страху? Сар-мэн, — развел руками Макута, выпуская притихшего Юньку и поднимая плетку, — тогда ты отвечай, а этого в чулан отправь, к крысам.

— Он мой гость, — набычился разбойник, — отвечать ему нечего, всю эту кашу заварил я, с меня и спрос. А ежели к крысам, то и я с ним пойду.

— Да хоть в ж...пу иди! Бестолочь! Я же от тебя так путного ничего не добился. Единственное, чего дознался, — что ты тело в какой-то колодец в своем подземелье бросил и мне мозги пудришь, что в Шамбалу ее спровадил для лечения от смерти. Куда ж ты Званскую дел? Мать скоро за ней прибудет.

— Да они ее, окаянные, в бездну ввергли! — с рыданиями ввалилась в комнату подслушивавшая под дверью Даша.

— Что?! Живую, в пропасть?! Митрич! Веревки, доску и людей, мигом! — выхватывая пистолет, приказал Макута. — Стоять, кто дернется — убью как суслика! Юнька, взял кандалы и сковал этим извергам ноги! Не мешкай, а то повешу.

— Бей, бей, не надо спешить! Никого мы жизни не лишали, так надо было, слышишь! — замерев по стойке смирно, орал Сар-мэн, который знал: шевельни он хоть мизинцем — атаман тут же пристрелит.

Митрич, чуя щекотливость вопроса, призвал на помощь только четверых своих людей, да и те в избу не вошли, а стали вокруг дома у окон. Связанных по рукам и ногам подельников усадили на лавку у дальней стены, Макута присел у окна и пустыми глазами смотрел на улицу. Распогодилось. Солнце расцвечивало мир, в котором, казалось, не было горя и смерти. На небе ни облачка, жужжавшие и попискивавшие божьи твари парили над входящим в силу разноцветьем. Внизу, у поселка, детвора затеяла играть в лапту. «И кто их только научил этой старой забаве? — грустно думал атаман, не желая возвращаться к обязанностям судьи и палача. Что он скажет помещице, свято верящей в его справедливость, как посмотрит ей в глаза? Как убить сына лучшего друга, своего крестника, а может, в недалеком будущем и преемника?»

— Дядька Макута! — прервала его невеселые мысли шмыгающая носом Дарья. — В ямку ту барыня сама согласилась бултыхнуться...

— Ну-ка, девка, расскажи хоть ты мне, только по порядку, — нехотя повернулся бей, поставив пистолет на предохранитель и сунув его за пояс. — Как покойницу забрали, куда понесли, что дальше было, хорошо?

Заметив, что девчонка украдкой косится то на своего Юньку, то на связанных пленников, Маку-

та едва заметно мотнул в их сторону головой. Митрич щелкнул пальцами, в опочивальню тенями скользнули два молодца и, растворив широкие двери просторной светлицы, где на ломберном столике лежали еще не вскрытые карты горе-любовников, зашвырнули туда обоих, словно мешки с картошкой. Когда двери закрылись, шум и ругань затихли, атаман подозвал парня и девушку, и велел говорить.

— Все случилось негаданно, — заслоняя собой невесту, начал кавалер. Он с достоинством пригладил волосы, одернул кургузую рубашку, подпоясанную не то кушаком, не то скрученным в жгут женским платком, и потер левой рукой нос. — Молода госпожа лежали и спали, уцепившись за руку Еноха Миновича, Дашка сидела рядом и плакала. Она завжды плачет, ежели кто где неподалеку помрет. И тут вбегает атаман и кличет Миновича. Ну они ушли вот в эту комнату, а мы остались там, — он указал на дверь в светлицу. — Об чем гутарили, я не слыхивал. Только вскорости они возвернулись...

— Маша проснулась и пить попросила, — дополнила осмелевшая девица, выглянув из-за спины молодого человека. Большие серые глаза смотрели наивно и доверчиво.

— Да, проснулась, говорила с нами, — загораживая суженую, согласился Юнь. — А когда господа вернулись, кинулась на шею Еноху Миновичу.

— Когда это они замиловаться-то успели? — полюбопытствовал атаман.

— А вот на гору утром бегали да стреляную Митрадору принесли, — опять вклинилась девушка и

вдруг, спохватившись, отпрянула обратно за спину своего дружка и уже оттуда, правда, не так бойко добавила: — А Юньки тогда еще не было, он к старой барыне с письмом ездил.

Юнька толкнул ее локтем и раздраженно цыкнул.

— По поручению атамана я в село мотался, насчет выкупу и на разведку. Войско в старую крепость пригнали, ворота затворили, пушки ладить стали, а старого Прохора произвели в коменданты крепости и приказали вас изыскать и закандалить.

— Ну и пусть себе кандалят, ты только это, паря, от главного не уюливай. Что дальше было?

— Они втроем непонятный разговор завели, мы ни шиша не разобрали. Барынька наша говорила, а мужики все каки-т вопросы задавали.

— Правда, дядечка! — как авторитетный свидетель подтвердила девушка. — Я хоть и не знаю нового языка, но учила малешко, так я смогла разобрать только, что они говорили про синь-камень и про каких-то чародеев, которые, вроде как, в этой горе живут...

— Одним словом, — перебил невесту парень, — пошли мы втроем к скорбной избе, где бабка Пуркина народ к загробной жизни готовит, атаман зашел, забрал голую покойницу, прикрыл ее моим трофеем, и оне с Миновичем побежали к дому, а я двери в избе-то подпер за ними. Потом мы отворили потаенный лаз — он там, в дровнике — и, затеплив факелы, стали под землю спускаться. В пещоре страшно было. Вскорости добрели до подземного каземата, большого — ни стен, ни потолка не видать. В середке, а может, где и в другом месте на по-

лу голубая каменюка лежит, ровно как под водопадом, куда мы со старцем да евонными девками на ладье улетели. Енох постлал на камень ну ту марлю, камень вроде как засветился. Взял тряпку крепко за края и велел мне на нее каменек увесистый бросить. Я все сполнил, и камень ушел в камень, а материю он выдернул в обратную.

Постлали они еще раз тряпку, да за один край вдвоем держат, а мне с девками велели на нее покойницу приладить...

— Тяжеленько это было сотворить. Никак она, бедняга, не умещалась на том лоскуте, — вставила Даша. — Вот все же усадили, а чуда нет. Тогда наша барынька и говорит, это ее, дескать, грехи не пускают, надо, чтобы невинной она была, а так не разверзнется.

— Невиновной в чем? — перебил ее Макута.

Даша залилась румянцем и потупилась, не зная, что и ответить взрослому мужчине.

— Чтобы мужика не знала, — пришел ей на выручку Юнь, довольный тем, что самому Макуте что-то растолковал. — Сняли мы убиенную, положили в сторонке, а Енох Минович хвать Дашу и на лоскут этот, я ее за руку едва успел хватить, а она тоже не проваливается. Тогда Маша встала на колени, облокотилась на тот камень, тут руки ейные туда и погрязли. Она спужалась и отпрянула. «Видите, меня они пускают, — говорит, — я сейчас, мол, возьму Митадору, обниму, вы ее ко мне ремнями привяжите, и я прыгну. А там будь что будет. Верю, — говорит, — они добрые и нам помогут». Так и сделали. Теперь обе там, — выдохнул Юнька.

— А что же ейный жених? — медленно вставая и поглаживая усы, спросил атаман. — Неужто так и бросил свою зазнобу черт-те куда? Хорош... Али это его Сар-мэн припугнул?

— Да что вы, дядечка атаман! — всплеснула руками осмелевшая Дашка. — Они на том камне сами все прыгали, и Юньку заставляли, а все никак. А потом Енох Минович и Маша поцеловались и поклялись друг другу в вечной любви. Так красиво было, я даже заплакала.

— А тряпка та где? — как бы невзначай спросил атаман, продолжая гладить усы.

— В том камне и застряла. Как барышня с покойницей сгинули в синем-то камне, он потемнел, и тряпка там замуровалась. Мы сколь ни тянули, сколь ни пытались резать, даже топором рубили. Все нипочем!

20.

Воробейчиков был как всегда неутомим. Застоявшись в бюрократическом ничегонеделании, он, что называется, рыл землю носом. За неполные четыре дня, прошедших с приснопамятного собрания вольных каменщиков, административный округ был превращен в военный, а народонаселение, включая бродяг, уйсуров, нелегализованных ханьцев и всех прочих, было безжалостно поставлено под ружье. В каждой захудалой деревеньке в спешном порядке учреждались военные комендатуры, полевые трибуналы и открывались п*о*рочные пунк-

ты для провинившихся. В отдельных местностях, ввиду явной нехватки мужиков, под ружье были поставлены бабы и незамужние девки. Однако вскорости от этой затеи пришлось отказаться, ибо войсковые казармы и баракоподобные длинные защитного цвета палатки превращались ночами не пойми во что. Видя такое издевательство над священными устоями армейской казармы, Наместник разразился громким и подробным приказом, гласившим: «Сие форменное скотство, расплодившееся в последнее время в подчиненных мне войсках, не токмо ведет к невыспанности личного состава, но и отрицательнейшим образом сказывается на моральном духе бойцов, кои в течение всего дня находятся в неприязненных отношениях со своими сослуживцами на почве взаимной ревности и перманентной тяги к всевозможному разврату. Во вверенной мне армии получили распространение рукоприкладство, мордобитие, а также невиданные доселе в армейском коллективе инциденты, как то: таскание за космы, плескание кипяткоподобной жидкостью (чаем) на грудь, расцарапывание мягких тканей лица и прочих мест. А посему...» — далее шел подробнейший перечень мер по наведению образцового порядка. Женская составляющая армии была срочно распущена по домам, их место заняли мужики из более густонаселенных уделов и дорожные рабочие.

Ханьцы и кипчаки, наблюдая нешуточную милитаризацию граничащего с ними округа, здорово струхнули и от греха подальше откатились километров на пятнадцать в глубь своей территории, тем

самым освободив не только наши кровные земли, которые тихой сапой оттяпали, но и своей земли не менее пяти, а то и более километров оставили, вроде как в порядке компенсации. Воробейчиков, видя такой коленкор, в момент перенес пограничные столбы и закрепил новую границу обширной пьянкой да вечным договором с начальствующим составом сопредельной стороны. Землицы, кстати, набралось прилично! Это когда отдаешь ее, незаметно, а вот когда забираешь, прибыток сразу ощутим. К тому ж и демография от всего этого только улучшилась.

Не дождавшись вызволения Еноха из бандитского плена, Генерал-Наместник сам пожаловал в Чулым в порядке инспектирования караульно-постовой службы и, остановив машины с сопровождающими его лицами недалеко от административного центра, сам решил пройтись по небольшой пригородной деревеньке.

Всему миру ведомо извечное убожество нашего села. Серые, крытые латаным-перелатаным шифером замшелые крыши выбежавших из дикого прошлого подслеповатых домишек, такие же серые от старости и безысходности покосившиеся изгороди, горбатенькие сараюшки. Кажется, ничего здесь не изменилось со времен Иоанна Грозного, только еще сильнее разрушилось и запустело. Утренний туман неспешно выползал из пологой поймы поблескивающей металлом реки на проселочную дорогу, которая чуть дальше обращалась в деревенскую улицу. Солнце еще не взошло, а только обо-

значило восток, мир был напитан грустной прохладой, и оттого нестерпимо тоскливой казалась одинокая фигура Генерал-Наместника на этом диком патриархальном шляхе.

Воробейчиков вполголоса чертыхался, он уже в третий раз вляпался в коровью лепеху. В горных поселениях скотина живет весьма независимой жизнью, особенно молодняк, который и на ночь в стойло приходит редко. Посему, заметив впереди размытые туманом контуры больших, бурых, как ему показалось, камней, инспектирующий отметил сметку местного военного начальника, воздвигшего непреодолимые препятствия для передвижения механизированных частей противника. И каково же было его удивление, испуг, а главное разочарование, когда один из этих камней с громким вздохом поднялся и двинулся ему навстречу.

Урза Филиппович лихорадочно зашарил в карманах сюртука в поисках очков, которые не носил из армейского форса. Водрузив окуляры на положенное место, он с облегчением вздохнул: на него, медленно раскачиваясь, шла мирно жующая буренка.

— Вот напугала, скотина рогатая! — произнес генерал и, чуть посторонившись, поскользнулся. Правая нога предательски проехала по мокрой от росы траве, и опора свободолюбивой монархии, нелепо взмахнув руками, рухнул прямо на свежую коровью лепешку. И надо же такому случиться, именно в эту минуту из тумана послышался грозный окрик:

— Стой, кто идет! Сказывай пароль, не то стр*е*льну!

— Неправильно, неправильно! — поднимаясь и брезгливо вытираясь платком, отозвался генерал. — Первая команда подана правильно, а все остальное отсебятина! Незнание уста...

— Ты счас у меня Господу свой устав глаголить будешь! — В тумане зло лязгнул затвор.

— Стреляй, стреляй, Семеныч, больно справные у него боты и одёжа, — подбадривающе раздалось где-то сбоку.

— Не сметь, я сам Воробейчиков...

— Да мне все одно, что воробей, что куропатка, что крокодил, руки в гору вздымай и иди до мене.

Неизвестно, чем бы завершилась эта конфузия, не подоспей к месту стычки генеральская охрана.

«Все же хоть и коряво, но служба на подступах к Чулыму поставлена неплохо», — отметил про себя старый вояка, умывшись холодной колодезной водой и вытираясь чистым рушником.

— А скажи ты мне, служивый, кто у вас воинский начальник? — возвращая полотенце, поинтересовался главком.

— Их сокородие оберкаптинармус Званский, комендант местной крепости! За ним уже и посыльный снаряжен.

— Хорошо, молодец! А звать как?

— Кого-сь, коменданта?

— Да нет, тебя, воин, как зовут? — оглядывая детину, спросил Наместник, подставив вытянутые назад руки новому, принесенному из обоза мундиру с золотыми генеральскими погонами.

— Мяне-то Опанасом Вановичем Джексенко кличут...

— Рядовой Джексон! — застегнувшись на все золотые пуговицы, громогласно возвестил генерал. — За рвение и проявленную бдительность присваиваю тебе очередное воинское звание подъефрейтор. Служи, сынок, глядишь, как и я, до генерала дослужишься.

— Служу мировому добру!

Большое служебное совещание было назначено в солдатском клубе Чулымской крепости, на которое, кроме местного начальства, ввиду важности и особой секретности вопроса, были также приглашены окрестные помещики, духовенство, поэты и единственный местный композитор.

Конечно, называть клубом длинную приземистую избу слишком смело, но чего-чего, а смелости нашей армии в тылу, к тому же в мирное время не занимать. Правда заключалась в том, что изба эта была многофункциональной и использовалась всякий раз по разному назначению: то для передержки молодняка в особо лютые зимы, то как казарма, то отдавалась под общежитие молодым специалистам, то под приют для туристов, промышлявших сбором дикоросов, в основном анаши, то действовала как клуб, а одно время даже была лазаретом + столовой. Старанием местных и прибывших начальников к обеду ее привели в надлежащий культурному заведению вид. Над входом вывесили флаги и портрет Августейшего Демократа. Местные остряки и злословы прыскали в кулак, дескать, больно уж на портрете нынешний Преемник по-

хож аж на позапрошлого, но все это не из-за крамолы какой или вредности, а исключительно по причине скуки и бедности светской жизни.

Крепость несказанно преобразилась: все было выкрашено, выбелено, выметено, обновлено и отремонтировано. Повсюду был виден хозяйский глаз и отеческая забота. Генерал-Наместник инспекционным осмотром фортификации остался весьма доволен. Особый восторг у него вызвало состояние крепостной артиллерии. Где Прохор за такой короткий срок насобирал этакую уйму музейного хлама, одному Богу известно! Главное, что вся эта историческая отсталость исправно палила, сияла латунью и свежей краской и могла еще послужить отечеству и демократии. За этакое рвение коменданту, на радость Глафире, было присвоено внеочередное звание «подпрапорщик» и обещана высокая державная награда.

Совещание началось со всеобщего исполнения державного гимна «Слушай, страна! Благодать над тобой воссияла!». У многих после единодушного пения в горле встал комок, а некоторые и вовсе украдкой смахнули патриотическую слезу.

— Други моя! Люди обильной Чулымии! Солдаты! — театрально простирая перед собой руки, вдохновенно начал Урза Филиппович. — Только железная армейская дисциплина и строгое соблюдение приказов может быть основой суверенной демократии и процветания нашего Отечества. У нас для этого есть все: и обильные леса, и полноводные реки, и многое множество всевозможных ископаемых и сырья. Но главное наше богатст-

во, — он высоко поднял над собой руку, а потом резко опустил, ткнув указательным пальцем в зал, — это вы, народ! Неистребим ваш гордый дух и преданность отцу и благодетелю нашему — Преемнику Шестому! Ура, братья!

Зал в едином порыве сорвался с мест, в воздух полетели шапки, фуражки, картузы, панамы, буденовки, лифчики и пилотки, а громогласное «ура!!!» заставило содрогнуться древние стены цитадели. С соломенных крыш, выкрашенных зеленой краской, в небо испуганно взмыла пернатая живность, казалось, что и эти бессловесные твари единодушно хлопали своими крыльями и на все лады славили Всескромного и Вселюбимого отца сибруссов.

Дождавшись, пока народ рассядется, Воробейчиков, отхлебнув из заветной бутылки, продолжил:

— Вот живет человек и не ведает своего истинного предназначения. Он так и помереть может, не узнав его, но приходит в родной край время испытаний, время нужды и военной невзгоды, и расцветает его душа, и к героизму спешат его мысли, и осознанно он делает тот единственный шаг, который сохранит его имя в народной памяти на века. Главное, что подобные люди есть и среди вас! — Зал от неожиданности замер, публика завертела головами, ища своих героев. Довольный произведенным на слушателей эффектом, генерал продолжил: — Вы вот сразу принялись глазами искать героя! Этакого молодца, мастера, как там его, билди-болдинга, понимаешь ли, заокеанскую картинку, а ведь настоящий герой неприметен, а зачастую и неказист. Хотите, я вам его покажу?

— Хотим! Хотим! — с новой силой взорвался зал.

— Ну так смотрите! — Царево око неожиданно проворно соскочил со сцены и остановился перед сидевшим в первом ряду Прохором. — Вот он, ваш герой! Надежда отечества и оплот Самодержного Демократа! Я должен наградить тебя однократным господцелуем, брат ты наш любезный!

Ликованию народа не было предела, а барыня Званская даже всплакнула, невзирая на свое искреннее презрение к столичному выскочке и краснобаю. В нарушение регламента в зале образовалось стихийное чтение патриотических стихов и пение гимнов. Композитор, не имея при себе музыкального инструмента, принялся напевать, насвистывать и пританцовывать только что сочиненную ораторию. Невесть откуда взявшиеся певчие грянули псалмы, а сидевшие в зале батюшки, раскочегарив кадила, запели величальные молитвы, пустив по залу согбенных служек с подносами и полуведерными кружками для пожертвований.

Увидев подобную наглость, Ирван Сидорович чуть было не поперхнулся водкой, которую втихаря отхлебывал из заветной генеральской бутылки. «Вот наглецы, еще кесаревы и толики малой не цапнули, а они уж ведрами гребут», — как человек, сведущий в поборах, Ирван знал, что народ щедр на подаяние только по первости, а во второй и третий обнос может и в кружку плюнуть, и сборщику меж глаз засветить.

Насилу уняв всенародные страсти, готовые уже перейти в массовые беспорядки, Генерал-Наместник вернул совещание в рабочее русло.

— Прежде чем мы перейдем к главному вопросу — тайному отысканию и сбережению всемирного культурного наследия, называемого Шамбалой, мне бы хотелось поделиться с вами личными наблюдениями, почерпнутыми на ближних подступах к вашему славному граду. Надеюсь, вы не против?

Гул одобрения пробежал по залу, народ, перевозбудившийся от недавнего ликования, приготовился самую малость вздремнуть.

— Сегодня рано утром вляпался я, простите за прямоту, в дерьмо! — Сонливость в зале как языком слизало. — Да, да, в самое настоящее коровье дерьмо, и притом не единожды! — На задних рядах кто-то хихикнул. — Смеетесь, и правильно делаете. Хорошо, что вляпался я, боевой генерал, повидавший на своем веку всякое. А вот представьте, что на моем месте мог бы оказаться молодой человек, спешащий на свидание, или, того хуже, романтическая барышня, и что тогда, я вас спрашиваю? Молчите? Отвечаю сам — трагедия! Поломанная жизнь! Неизлечимая психологическая травма, комплексы неполноценности, и все из-за какой-то разнесчастной лепешки! А кто виноват? — спрошу я, как когда-то вопрошали наивные предвестники свободомыслия. Может, неразумные животины, к коим относится весь крупнорогатый скот? Что «да»? Кто сказал «да»? — рыкнул в зал Наместник. — Не всякий раз следует утвердительно отвечать начальнику даже такого высокого ранга, как я. Так вот, официально заявляю, истинным виновником обилия мин животного происхождения на наших дорогах и улицах яв-

ляется в первую очередь косность мышления, безалаберщина, леность и прочее разгильдяйство!

Посмотрите, граждане, как устроены наши поселения! Ни порядка, ни плана, ни единообразия построек и фасадов. На этой убогой разномастности и взгляду культурного человека остановиться негде. Так вот, после сегодняшнего утреннего инцидента решил я Всевеличайшему Преемнику отправить шифрограмму с предложением срочно издать указ о кардинальной перестройке сельских поселений, малых городов и местечек. Идеальное сельскохозяйственное поселение должно выглядеть следующим образом: на переднем плане парадная улица, имеющая свое название и твердое покрытие, желательно асфальт. По ней запрещено движение гужевого транспорта, прогон скота и выгул птицы. На оную магистраль выходит единообразный штакетник палисадов, усаженный сезонными цветами и декоративным кустарником, за палисадами утопающие в садах весело окрашенные типовые дома, за ними огороды, после скотные дворы и прочие постройки, а завершает все это что? Отвечаю: тыловая дорога, по которой вольно передвигаются коровы, кони, бараны, птица и прочая скотина, а также вывозится на поля навоз...

— И свиньи, — подобострастно вставил кто-то из первых рядов.

— Правильно, и свиньи! И как вам мой проект? Отвечать не надо, вижу, тронул за живое!

Последние слова докладчика потонули в бурных аплодисментах, переходящих в оглушительные овации.

Воробейчиков стоял как великий полководец, отставив вперед левую ногу, заложив кисть правой руки за обшлаг мундира, наслаждаясь своей славой и восхищаясь глубиной данного ему Всевышним ума. Это был настоящий триумф. А потом посыпались многочисленные уточняющие вопросы — о дизайне и цвете оград, о рассаде, и прочее, прочее, прочее. Появилась большая грифельная доска, которую солдаты приволокли из школы, цветные мелки, маленькие флажки на присосках. Новый тип поселения с парадной и тыловой дорогами был явлен населению во всей своей красе.

— Главное, чтобы эта бестолочь не стала претворять в жизнь свои идеи в нашем уделе! — непростительно громко заявила Полина Захаровна сидевшей рядом с ней Глафире. — Пойдем-ка мы отседа, Глаша, а то голова совсем опухнет и ночью не заснем вовсе, да и о пленнице сердечко мое ноет. — Она демонстративно встала и подалась вон, а за ней, словно гусыня за гусаком, переваливаясь с ноги на ногу, засеменила верная товарка.

Наместник в это время чертил красными и синими стрелами пути вывоза коровяка и подвоза свежих кормов по тыловой дороге. Заслышав шум в зале, он возмущенно обернулся.

— А вы это куда без докладу? И не выслушав Всевысочайшего послания о Шамбале? — постучал он указкой по грифельной доске.

— Где уж нам, батюшка, уразуметь твои шибко грамотные речи? Баба, она ровно курица при непутевом петухе, коего ты сечь велел за лишние яйца. Не взыщи, пойдем мы, скотина недоена, делов не-

впроворот, да и за тыловую дорогу давно пора уже сбегать, а то ведь с утра терпим, — слегка обернувшись, махнула рукой Званская.

— А... Шамбала? — не зная, как урезонить невоеннообязанную, растерянно воскликнул Воробейчиков.

— А что Шамбала? Она, когда время придет, сама вскроется, так старики сказывают! — уже в дверях ответила помещица.

21.

Москву потрясла весть об отставке Джахарийского. Все притихли, затаились в ожидании чего-то неизбежно-страшного. Всем, поголовно всем, а не только небожителям, казалось — вслед за громким увольнением на их головы непременно падет непоправимое, и участь сия не минует ни одного жителя великого города, втиснутого в древнюю радиально-кольцевую клетку. Доподлинно науке пока не известно, отчего происходят подобные переполохи. Однако падение всякой крупной фигуры с отечественного политического Олимпа неизбежно повергает сначала столицу, а потом и всю страну в некий мистический ужас. Общегосударственный ступор парализует остатки евразийской громады, словно грядущий конец света, страхом перед которым уже две тысячи лет с успехом торгуют славные и инославные священнослужители.

Именно об этом парадоксе и рассуждал известный политолог, политтехнолог, телепрорицатель и

тайный колдун Кремля Павлин Тойотович Глебовский. Толстомордый, смахивающий на стареющего потасканного хряка, с аккуратным тройным подбородочком, всегда сальными волосами, пустыми, как костяшки домино, глазами, голосом, похожим на органчик, он еженедельно вещал стране неутешительные пророчества и сыпал гневные проклятия в адрес многочисленных врагов суверенной свободы и Августейшего Демократа. Но даже его, прожженного циника, искренне удивлял этот общенародный психоз.

— Мне и иным насельникам бездны госвласти понятны причины нынешнего дурацкого трепета. Нам есть от чего трепетать, — бормотал себе под нос демиург. — Я — другое дело! Без меня все в Кремле встанет и закостенеет, я — паровой котел государственного локомотива! Хотя паровой котел это как-то банально, не пафосно, что-то вроде скороварки. Плохое сравнение, гляди, где-нибудь не ляпни на людях. Нет, я не котел, а нечто другое, но все равно лично мне есть что терять и от чего трепетать. Понятно, отчего трепещут министры, их аппараты и домочадцы. Не надо долго объяснять, отчего трепещут начальники ведомств и департаментов с их экономическими командами, но отчего трепещут те, кто и трепетать-то не должен вовсе? Кто это может объяснить, кто ответит на этот простой вопрос?

Вот свежая статистика. — Глебовский разложил на столе листки с диаграммами. — Чудны дела твои, кто бы ты ни был там, на небесах! Но и даже ты мне внятно не сможешь ответить, почему от-

ставкой Джахарийского так озабочены домохозяйки, работники ЖЭКов, милиционеры, учителя, а главное — пенсионеры, сорок процентов! Во всех газетах, радиоприемниках, телевизорах, утренних электричках и поездах метрополитена — везде шу-шу-шу: «а вы знаете ...сняли?», «а вы слушали?..», «сегодня передали...», «да что вы говорите, какой ужас!» И главное: «Ах, что теперь будет?.. что будет?!»

Да какое вам собачье дело, вы-то здесь при чем? Я, конечно, могу вам ответить, что будет с пенсионеркой тетей Шурой после неожиданной отставки моего всесильного шефа! Ничего не будет, ровным счетом ничего! Как жила она в своей малогабаритной клетушке, так и будет жить ровно столько, сколько отпустит ей Бог на дожитие! Как получала пенсию, начисленную по принятому только у нас в стране принципу: «От каждого — по возможностям, каждому — что дадут», так и будет получать. Как ходила голосовать, так и будет ходить, вот только выбрать она, болезная, никого не сможет: народ-то голосует, а выбирают другие и в другом месте. В этом и заключена великая истина суверенной демократии. Так что поводов у нее и таких, как она, вовсе нет. Ну отчего же тогда народ вибрирует?

— Боится, что и сегодняшнюю малость отберут, да еще войну развяжут, пенсию урежут, проездные отнимут! — услышал Павлин спокойный голос недавно снятого шефа и вздрогнул.

Правая рука как бы невзначай скользнула в нишу между крышкой стола и тумбой с ящиками, вцепилась в большую, забранную в застекленную

рамку фотографию; левая — натянув рукав пиджака на внутреннюю сторону ладони, принялась вытирать невидимые на стекле пятна. Для пущей убедительности Тойотович пару раз на него хукнул, еще потер и, как бы любуясь, поставил фото на привычное место, слева от себя. Довольный уловкой, поднял голову, чтобы улыбнуться шефу, и остолбенел — в кабинете никого не было.

Павлин Тойотович, как человек, публично исповедующий мистику и метафизику, еще с диссидентских времен своей юности твердо знал, что мир материален, духов, монад и прочих сказочных персонажей в объективной реальности не существует, а потому по-настоящему испугался. На всякий случай он вышел из-за стола, заглянул в приемную, споткнулся глазами о своего верного и в любой момент готового все исполнить секретаря Ванечку Ван Блюма, вернулся обратно, толкнул для уверенности дверь комнаты отдыха — пусто.

«Это глюки! — мысленно вынес он неутешительный диагноз. — Доработался! И в твои-то неполные пятьдесят! Слуховые галлюцинации, это уже слишком! — Павлин Тойотович панически боялся болезней, особенно умственных, и на то были определенные, так сказать, наследственные причины. Он сел обратно за стол, с раздражением взял фотографию, на которой был запечатлен в обнимку с улетевшим в никуда шефом, и сунул ее обратно в нишу.

Однако нематериальные странности приняли материальный характер: массивная золотая авторучка, украшенная барельефом из снежного барса

с рубиновыми глазами, душащего изумрудноглазую серну, поднялась над столом, изготовилась для письма и, коснувшись белого листа, начала аккуратным школьным почерком бывшего начальника выводить слова:

«Павлин! Ты мудак! Такого даже я от тебя не ожидал! Мы все в этом доме подлецы, но чтобы вот так, сразу! Это слишком! Фотографию не мучай, лучше выкинь: не казенный портрет и учету не подлежит! А я тебя из сердца своего выкину, гаденыша!» — даже по письму чувствовалось — Джахарийский не на шутку распалялся.

Политкомбинатор сидел белый как мел. Пальцы его непроизвольно вцепились в подлокотники кресла и, казалось, прикипели к кожаной обивке, а остатки сознания готовы были в любой момент покинуть гудящую пустотой голову.

«Да что же ты так бздишь? — продолжало поскрипывать вечное перо. — Водички попей. Не дрейфь, с ума ты не сойдешь, пока я этого не захочу. И еще, для твоего сведения, я — не мистика, не дух какой-то поганый, я — воля! Воля, Павлинчик, ничего, что я тебя как встарь называю? Воля, она, недалекий ты мой, субстанция материальная и вполне объективная, пугаться ее не следует. А теперь слушай! Вернее, читай и запоминай. Указ, в котором прописано небытие мое, недруг мой на сороковом году нашей лютой дружбы все же протолкнул! Документы у меня отобрали, машины лишили, с дачи поперли, перед Всемирными опозорили, а здесь еще и ты... да ладно! Вся надежда на тебя, дружок. Преемник тобой очарован, и не без

моей помощи, кстати. Жена Всевысочайшего говорит, что без твоих телебаек заснуть не может, пишет их себе на плеер и перед сном слушает. В этом — наше с тобой спасение. Я тебя не пугаю, но, видится мне, следующий на вылет ты. А как иначе? Ты ведь мой кадр».

Перо бегало по бумаге как сумасшедшее. От спешки почерк становился небрежным и плохо читаемым. Павлин с трудом за ним поспевал, ну а понять, куда клонит бывший начальник, никак не мог.

«Я знаю, где спрятано яйцо с бессмертием Сучианина, и ты мне поможешь его достать и займешь его место, а я так и останусь пастухом медведей да удельных берложников, мне это ближе. Вижу, согласен. Только говорить со мной в кабинете — сам знаешь и встречаться тоже не следует. Лучше переписываться. Возьми другую ручку и напиши: «Согласен». Ну, давай же, не трусь, и у тебя есть, хоть и паршивая, но воля!»

Павлин Тойотович, словно в горячке, с трудом отлепил от подлокотника руку, вытащил из кармана свою любимую (матушкин подарок) старинную авторучку с допотопной резиновой пипеткой для забора чернил «Радуга» и дрожащим почерком вывел на том же листе: «Согасен». Чужая невидимая рука тут же вписала пропущенную букву и добавила: «...вот так-то лучше, а фото верни на место, паскудник!»

Первое, что сделал Глебовский, ощутив возможность координировать свои движения, — достал злосчастное фото и отнес его в книжный

шкаф в комнате отдыха, а на стол поставил фотографию Преемника с личной Вседержавной росписью. «Так оно будет правильнее. *Воля не может быть материальной!* — испуганной птицей билась в пустой голове одинокая мысль. — А врачу надо показаться».

Несколько придя в себя, Павлин решил перечитать начальственный бред. Акуратно завинтил колпачок мамашиного подарка и подвинул к себе дурацкую писанину. Никаких записей на девственно чистых листах бумаги не было. Только почти в самом низу красовались его каракули «Согасен» и все. Павлин, протянув руку с хищно растопыренными, полусогнутыми пальцами, схватил этот жалкий лоскут произведенный из некогда живого древа, и сунул его в жадную щель бумагоизмельчителя. Черная пластмассина утробно заурчала, с аппетитом перемалывая бумагу мелкими щучьими зубками в бесформенную труху. Остатки листа вывернулись в последнем смертельном изгибе, Павлин последний раз увидел свои закорючки и снова вздрогнул: над его пляшущими буквами красовалась выведенная рукой начальника, пропущенная им от волнения литера «л». Он протянул руку, чтобы выхватить это немое свидетельство неведомой ему реальности из бесчувственной пасти, но было поздно, ненасытные железные ножи завертелись быстрее в ожидании новой жертвы.

Из полукоматозного состояния его вывел заглянувший в кабинет Ванечка.

— Павлин Тойотович, к вам Ван-Соловейчик и всекурултаец Хиньша Стук-постук, — с любопыт-

ством разглядывая шефа, произнес крашенный под известного в стародавние времена цирюльника Зверева смазливый молодой человек с чувствительно силиконовыми губами. — Им было назначено, — извиняющимся голосом добавил он и, плотнее прикрыв дверь, встревоженно спросил: — Милый, с тобой все в порядке? — Однако натолкнувшись на холодный и безразличный взгляд политколдуна, капризно поджал губы, распахнул дверь и мстительно произнес: — Проходите, господа, вас ждут!

«Ну, сучка! Теперь до вечера будет мочалить мне нервы. Завтра же поменяю его на обычную девку, надоел», — злился про себя Глебовский, нехотя подымаясь навстречу своим пиар-коллегам.

Визитеры были как на подбор: упитанные, холеные, мордастые, с выпуклыми глазами и немолоды. Одеты гости были в одинаковые, казенного кроя костюмы заморского производства, запястья правой руки окольцовывали оправленные бриллиантами золотые хронометры, в галстуках алели крупные рубины, как вечный символ тайного братства, на ногах черным перламутром мерцали туфли тонкой ручной работы. В последнее время только по иностранному гардеробу и можно было отличить народных избранников от основной массы госслужащих, которых в столице, не без стараний все того же приснпопамятного Дионисия Козела, было процентов семьдесят от всего населения.

«Баре, ни дать ни взять баре», — холодно пожимая визитерам руки, отметил Павлин. Одернув полы своего не в пример скромного серого пиджака с

кожаными коричневыми вставками на локтях, он жестом пригласил гостей присаживаться за длинный стол совещаний.

Подойдя к своему столу, он нажал кнопку селектора и, придав голосу как можно больше тепла, попросил:

— Ванечка, будьте настолько любезны, насколько вы жестоки — распорядитесь, пусть девочки сделают для нас чай!

— Я сам, я сам! — обрадованно отозвался динамик.

Гости многозначительно переглянулись, дескать, и до Кремля докатились голубые волны! Однако всем своим видом продемонстрировали полную толерантность, мол, нам какое дело? У каждого начальника свои заморочки с секретаршами и помощниками, — и деланно безучастно заскользили прыткими глазами по кабинету.

Павлин Тойотович взял свою большую рабочую тетрадь и по привычке потянулся за драгоценной ручкой, но та опять ожила и вывела на перекидном календаре: «Сволочь!» На этот раз испуга не было, Глебовский даже не вздрогнул, он крепко зажмурился, а потом быстро распахнул глаза, так он часто делал в детстве, когда чего-то пугался. Надпись задрожала и медленно, как бы нехотя растаяла. На листке календаря его рукой было написано: «Рожд. мин. Шустрика». Надо будет не забыть поздравить прыткого министра, а заодно узнать, где деньги за последнюю партию переданных Объевре перемещенных ценностей. Взяв обычную казенную самописку, он вернулся за стол совещаний.

Людей он этих знал как облупленных, сам когда-то привел обоих к всесильному тогда Джахарийскому. Хиньша Моше Стук-аб-Стукович Зус — известнейший в стране правдописец, когда-то еще в юности подцепленный на крючок песьими головами, исправно кропал толстенные книжки с обличениями пошатнувшихся столпов августейшей демократии, а порой и державных друзей ушедших на покой Преемников. Народ ахал и славил Хиньшу, а сановники тихо точили на него зубы и рыли на борзописца компру. Только Павлин доподлинно знал истинную цену расследованиям Хиньши, аппетиты которого росли год от года, даже покупка за казенный счет уж очень дорогого ныне депутатского кресла во Всевеликом Курултае жадности не убавила, а только раззадорила непомерные амбиции пожилого писаки. Уже дважды Павлину докладывали, что в доску оборзевший Хиньша, будучи в подпитии, грозился в скором времени тиснуть трехтомник с гадостями на самого Г...

Не отставал от него и великий шоумен, всенародный телекумир Ван-Соловейчик, автор, ведущий и бессменный продюсер ток-шоу «Дуэль у помойки», отличавшийся редкой даже для нынешних времен беспринципностью.

«В одном шеф прав, — придирчиво разглядывая подручных, подумал Павлин, — с каким дерьмом приходится работать!» — а вслух произнес:

— Так, коллеги! Джахарийского отстранили в связи с переходом на другую работу, но дух его... — Павлин Тойотович запнулся, немножко помолчал и поправился: — Воля его жива и требует продолжать ра-

нее начатую работу по совершенствованию управленческих структур. Если мы этого не сделаем, не сделает никто, а упущенное время возврату не подлежит! — продолжая говорить, он мысленно поразился, как стала похожа его речь на истерические заклинания бывшего начальника. Почти те же слова, та же манера. Интересно, окружающие это замечают?

— А вот и чаек, чайчик, чаюшечка! — Толкая не по-мужски округлой попой дверь, в кабинет задом впятился секретарь с большим серебряным подносом в руках.

— Спасибо, Иван, мы здесь сами управимся...

— Ну, что вы, что вы, Павлин Тойотович! Мне, право, это не затруднительно, да и потом, когда еще представится такая возможность — обслужить сразу трех таких достойных мужчин. Я ведь помню, кто какой чай из наших гостей предпочитает. Вот Ван Соломон-оглы ибн Соловейчик любит зеленый с чабрецом, правильно? — И поставил перед телефакиром чашку. — А народный любимец Стук Стукович Хиньша питает пристрастие к черному с экзотическими добавками, а вы в это время суток пьете зеленый с лимонником, — грустно глядя на шефа, произнес Иван и, забрав поднос, направился к двери, вздыхая и виляя задом.

— Тойотыч, ты чего хвост распушил? — не поднимая головы от чашки, спросил Хиньша. — Переизбирательная кампания почти в завершении, дебаты, как бы нас враги ни пугали, состоялись, и притом какие! Невидимые, бесконтактные. Преемник нигде не показывался, ни с кем не встречался, и потому мы их, как всегда, выиграли. Да ты и сам

знаешь, какой от них резонанс и у нас и за рубежами! Рейтинг нашего Переизбранца вырос сразу на двенадцать пунктов. А ты несешь владисуровскую чушь. Ты хоть замечаешь — дня не прошло, как он в улете, а ты его словами, его интонациями говорить начал? Нет его, расслабься! Или, — седовласый Хиньша слегка озадачился, — тебя уже на его место назначили? Если так, извини за вольности, я ведь от чистого сердца, по старой дружбе... — и уж вовсе подхалимски, заискивающе переспросил: — Все-таки назначили, да?

— Никто меня никуда не назначал, по крайней мере, радио про это пока ничего не объявляло, а только оно у нас в стране все знает. Да и назначат — не назначат, большой роли сейчас не играет. Ты прав, перевосхождение Августейшему надо обеспечить блестящее, чтобы ни у кого сомнений не возникло в наших возможностях делать результат. Результаты делали, делаем, будем делать мы и только мы. Но главное — уход этого пройдохи надо сопроводить соответствующей пиар-шумихой. Газеты, радио, телевидение, сплетни, анекдоты, частушки, и главное, все это для зарубежья. Нашим же умникам и народу чего-нибудь попроще: быстро сварганить хорошую, «правдивую» книжку страниц на полтысячи. Читать ее никто, конечно, не будет. Главное, что книга есть, а книгам у нас всегда вера. Ладно, мне ли тебя учить, одним словом, все как всегда — объективное расследование о мерзкой жизни растлителя малолетних, казнокрада, врага народа и Августейшего Демократа, то есть всю какую ни на есть правду. Пусть весь мир знает, какая

гадюка непростительно долгие годы грелась на груди доверчивой власти, и не просто грелась, а пила соки, убивала ее, короче, ты и сам все знаешь. Гонорар двойной. Фактуру опричники уже подбирают и к вечеру кое-что передадут. А вот тебе, Соловейчик, надобно у твоих помойных барьеров...

— Павлин Тойотович, а можно я тоже книжонку тисну, у меня получается, помните? — перебил его старый шоумен.

В этот момент кабинет неожиданно наполнился державной музыкой. Присутствующие, словно по команде, вскочили и замерли по стойке «смирно». Лет двадцать как в соответствующих кремлевских кабинетах были установлены специальные аппараты прямого вызова к Преемнику. Где они гнездились и как ими пользоваться, никто не знал. Просто вот, как сейчас, включалась державная музыка, предвещающая некое высшее сообщение.

— Именем Высочайшего Преемника Шестого вам повелевают немедля явиться в его, Августейшего Демократа, канцелярию для аудиенции, — возвестило нечто после музыки голосом Сучианина.

Глебовский опрометью бросился из кабинета, крикнув через плечо:

— Меня не ждите! За работу! Время выбрало нас!

22.

В последние годы Всевеликий Всенародный Курултай народов Сибруссии собирался редко и неохотно, так что большая часть помещений на Доход-

ном ряду пустовала или сдавалась в аренду каким-то темным личностям и структурам. Как правило, кабинеты избранцев использовали по своему назначению девицы легкого поведения, которых по решению курултая давно именуют жрицами демократии. Подавляющая часть задумцев народных постоянно проживала в своих закордонных имениях, и вытащить их на любезную Родину было весьма сложно и накладно. Давно известно, что народный избранец задаром не только никуда не двинется, но и руки для голосования не поднимет: на все есть своя такса. Такова, видать, специфика народовластия. Однако дом народных утех никогда не затихал и не прекращал своей деятельности, и не только из-за проституток, для которых уже лет тридцать как реставрировали огромный отель напротив. Давали жару и курултайцы со своими помощниками и кумовьем. Оставшиеся в Доходнорядских чертогах избранцы вели страшные битвы друг с другом, почковались, сбивались во фракции, группы и оппозиции, писали воззвания и доносы, плели замысловатые интриги, и все это происходило по благородным поводам борьбы за народное счастье и достаток. В поместья выезжали лучшие из лучших, проверенные из проверенных, уже давно передававшие высокое звание народного избранца по наследству, никто им в том не перечил: боялись или попросту не хотели связываться с людьми отягощенной наследственности. Возглавлял курултай крепкий, длинный старик с почти медвежьей фамилией — Буреломов. Был он любезен всем Преемникам, которых немало сменилось на его депутатском веку.

— Не о хлебе, не о зрелищах поганых надо думать, не блажить о несуществующих душах человеческих и о благе народном, его у нас никогда не было и не будет! Главное — вода! Обычная природная вода, которой все меньше и меньше в закромах остается. Ее надо беречь и приумножать.

— А как приумножить то, что выпили уже? — раздался из зала чей-то наивный вопрос.

— Исключительно путем сбережения и ограничения потребления простым людом, ему все равно, а нам о себе надо думать. Чистая природноя вода — главное средство для достижения бессмертия. Учтите, эта информация исключительно только для нашей державной фракции! — строгим, не терпящим возражения голосом произнес главный курултаец.

— Футбол Небельмесович, я, конечно, извиняюсь за скудость, так сказать, ума. Вы уж не взыщите, если что не так спрошу. Из глухой я провинции, где и света электрического никогда никто в глаза не видел, — почтительно кланяясь, начал ставленник углекопателей, умудрившийся пересажать всех своих хозяев и стать полноправным хозяином копий.

— Да уж не прикидывайся, не прикидывайся парижским сиротой! Знаю я тебя еще с опричных времен. Ты вопрос задавай.

— А вопрошение мое к вам, да продлится ваше спикерство, глубокоуважаемый председательствующий, таково. Ежели вода природная целебна и неизбежно ведет к бессмертию, то чего тогда наши древние предки померли, они же ею, чистоганной, только и поились?

— Глупый вопрос абсолютного невежды! — пренебрежительно изрек великой водолюб и, уже обращаясь ко всем собравшимся, возвестил: — Открытие об участии воды в бессмертии было сделано недавно, а питекантропы нашего коллеги об нем ничего и не знали, оттого и дохли на двадцатом году жизни. Только знание вопроса может дать нужный результат, в том числе и бессмертие! Денег нагреб, а ума не нажил.

— А позвольте и мене задать вам вопросец? — взвился давний недоброжелатель, засланный когда-то во Всенародный Курултай злейшим врагом и конкурентом Буреломова, всесильным главой Совета старейшин — Серапимом Геологовичем Мирамистинским. — Уж не из секретов ли Шамбалы эти ваши знания? Это раз. Не нанесет ли их разглашение государственного ущерба? Два. И главное — если все это так, то не станут ли отдельные враги Августейшего его бессмертными врагами? Поясните нам, пожалуйста.

Зал притих в преддверии надвигающегося скандала. Охрана резво принялась выгонять посторонних, в основном переодетых в путан папарацци, и разворачивать брандспойты для охлаждения межфракционной баталии, готовой вот-вот вспыхнуть.

— Сам дурак, — попытался уклониться от ответа спикер, — и вопросы ваши никчемные, малозрелые! Не доросли вы еще до звания полнокровной фракции. Будешь паясничать, лишу слова на всю пятилетку!

— За дурака ответишь! — казалось, только того и ожидая, взвился злопыхатель. Тщедушный человек

вскочил на депутатский стол и, топча аппараты для голосования, обернувшись к сотоварищам, завопил: — Справедливость попрали! Ату берложников! Натерпелись! Доколе они будут торговать нашими местами в курултае? Доколе им все лакомые куски будут обламываться? Мы не менее ихнего демократизируем и не то еще умеем! Ату их, ребята!

Брандспойты втянули в зал заседаний, но воды в трубах не оказалось, видать, ее как экологически годную уже кто-то успел откачать и кому-то продать. И грянуло побоище, коего еще не видывали эти стены. Во все уголки мира летели телеграммы-«молнии» с красными полосами, срочно сзывающие подкрепление. Битва грозила затянуться минимум на полгода.

23.

Маша проснулась от холода. Глаза открывать было боязно. Где-то невдалеке шумела вода, а еще дальше, должно быть, паслись кони, знакомый с детства хруст вырываемой травы и негромкое позвякивание пут нельзя было спутать ни с чем.

«Кони? Какие кони, откуда?» — Глаза открылись сами собой, и девушка села. Вокруг клубилось туманом утро. Рядом, негромко подпрыгивая на небольших камушках, спешил куда-то широкий ручей. За ним действительно паслись кони. Вода шумела где-то сзади. Приподнявшись на локте, Маша обернулась и увидела водопад. Он был удивительно хорош в первых, еще далеких лу-

чах только рождающегося солнца. Широкая стена воды, голубоватая от неба, изумрудная от окружающей зелени и золотисто-нежная от утренней зари, с белесовато-темными переливами отвесно падала с огромной высоты. Внизу, в мириадах клубящихся брызг, вспыхивали и гасли первые несмелые радуги.

— Енох! Где Эрмитадора?! — вскочив на ноги, крикнула она. — Эрми! Эрми!

«Рми-рми-рми-рми!» — подхватило эхо. Лошади перестали щипать траву и настороженно повернули головы в ее сторону.

— Что ты орешь, как полоумная? Тишину испугаешь, — выныривая из водопада, отозвалась Гопс.

— Эрми! — Маша, не разбирая дороги, бросилась навстречу воскресшей подруге.

Эрмитадора, нагая и прекрасная, как античная наяда, медленно брела по мелководью, отряхивая воду с коротко стриженной рыжей головы. Не добежав до подруги метров десять, Маша остановилась. Прямо над водопадом во всей своей красе сияла священная Белуха. Казалось, гора радостно улыбалась чуду нечаянно обретенной жизни. Неведомая сила опустила девушку на колени, и губы сами собой зашептали незнакомые ей ранее, но такие родные и теплые слова древней молитвы.

Эрми, удивленно глянув на Машу, обернулась, и у нее из глаз беззвучно потекли слезы.

С того берега, где паслись кони, к ним бежали какие-то люди и громко кричали, радостно размахивая руками. Впереди всех, почему-то с огромным тулупом в руках, высоко поднимая ноги, летел

Сар-мэн. За ним, тоже с какими-то одеялами, словно породистый бык, несся Енох, а чуть поодаль — Дашка с Юнькой. Позади всех не спеша, опираясь на свой любимый посох, которым служила легкая узловатая палка из дерева неизвестной породы, шел Макута-бей со свитой. Увидев Белуху, он осторожно опустился на колени, его примеру последовали другие разбойники, шедшие следом. Святыня в Азии близка для каждого открытого Богу сердца, так здесь устроен мир.

Встреча была бурной, со смехом, громким весельем, слезами и тихой грустью. После общей радости и наскоро собранного дастархана ватага сама собой разбрелась кто куда. Енох с Машей пошли прогуляться. Сар-мэн, все это время не спускавший укутанную в одеяло Эрмитадору, как ребенка, с рук, приткнувшись у нагретых солнцем камней и не размыкая объятий, уснул мертвецким сном. Сама недавняя покойница была на удивление тихой, ничего не ела и смотрела на всех пустыми, ничего не видящими глазами. Окружающие относились к этому с молчаливым пониманием, никто из них не знал, как должны вести себя воскресшие из мертвых.

Походив кругами, народ, крестясь или творя на свой лад молитвы, стремился во что бы то ни стало дотронуться до женщины и убедить своего внутреннего Фому Неверующего в сотворенном на их глазах чуде. Многие из тех, кто не видел Эрми мертвой, и вовсе относились к этому с нескрываемым сомнением, как к некоему непонятному розыгрышу или мистификации, дескать, не было по-

хорон — нет и воскрешения. Другие, кто все видел и хоть как-то успел пообщаться со вчерашней покойницей, шепотом, чтобы не услышал атаман, божились, мол, девка похожа, да не та, подменили ее в пещерах, а может, она уж и не человек вовсе, а нежить какая-нибудь.

Макута ко всему прислушивался, прикидывал, сопоставлял, вспоминал свои встречи с «возвращенцами» — пропавшими, оплаканными, а потом вдруг объявившимися. Тяжелыми на общение и неуживчивыми были такие люди и чаще всего опять куда-то пропадали. Поглядев на умаявшегося атамана, на безразличную к его сонным объятиям женщину, он кликнул Митрича и в сопровождении еще двух разбойников отправился к водопаду. Оставшиеся в лагере занимались привычными делами: кашеварили, ставили навесы, ладили шалаши, оборудовали на кедрачах да скалах охранные гнезда, затаскивая туда воду, провизию и патроны, — обустраивались нешуточно и надолго.

— В кручине ты, что ли, кум? — сшибая нагайкой макушки попершей в дурь конопли, осторожно начал Митрич. — Али и ты думаешь, что баба — навка?

— Навья она али нет, кто ж тебе скажет? Вот гляди же ты, срамной да похабной жила — и на тебе, воскресла! Ходит, холодными глазищами лупает. Мне Сар-мэна жалко, пропадет мужик. Ну да это его дело, с какой бабой ночи коротать. Только вот что, — он резко обернулся к спутнику и грозно прошептал, — день и ночь глаз с нее не спускать!

Проспите, не укараулите — головы пооткручиваю! Понял?

— Понял, кум, понял. Я сам первое время за ней погляжу. Мне даж интересно...

— Ты особо-то не заинтересовывайся, всегда мысль основную имей — непростой она человек, и откудова пришла, незнамо. Ты вот что, — расстегивая ворот простой сатиновой рубашки, подпоясанной тонким кожаным ремешком с серебряными буддистскими подвесками, распорядился атаман, указывая на разбойников, — передай своим абрекам, пущай один на ту сторону ручья перейдет и станет у скалы, где водопад, а второй — с нашей, а мы с тобой вон с того камня под пелену водную и поднырнем. Давно я туда не забирался!

— Нешто мы там уместимся? — передав распоряжения и нагоняя бея, спросил Митрич. — Там только огольцу протиснуться-то и можно.

— Сам все увидишь.

Пройдя боком по камням в клубах водяной пыли и цветной многополосице радуг, они оказались в своеобразном, сумрачном, высоченном туннеле. Слева уходила вверх отвесная скала, справа, едва пропуская солнечный свет, летела вниз живая стена воды. Под ногами к противоположному берегу вела идеально ровная, скользкая от влаги и какой-то слизи каменная полка, на которой при желании могли разминуться два взрослых человека. Осторожно, чтобы не поскользнуться, разбойники, придерживаясь за скалу, пошли вперед.

Макуту-бея больше всего интересовала скала. Она выглядела неоднородной. Под ногами была

почти идеально ровная, как будто полированная. Но кто ее мог здесь полировать? Если вода, тогда почему край, уходящий в бурлящую воду, остался острым, будто только что из каменоломни?

— Я тоже, хозяин, гляжу — больно уж все аккуратно. Ровно каменотесы прошлись. И главное, ни одного стыка не видать. — Обогнув атамана, Митрич пошел вперед. — Хотя есть, есть стык, Макута! Но каменюки так подогнаны, что и кромка ножа не влазит. Ежели не искать, в жисть не заметишь!

— Оставь ты в покое эту плиту, тут и коню понятно, природа такого сотворить не могла, ты вон на стену погляди!

Стена действительно представляла собой еще более удивительную картину. Снизу и по сторонам, насколько хватало освещения, она была темно-серой и шершавой, как камни окрестных гор, а после примерно метровой материнской окоемки наружу выходила однотонная голубая порода, идеально ровная и вогнутая к середине. Камень действительно был необычным и походил на какой-то мутно-небесный минерал, если отстраниться и глянуть на это голубое око как бы со стороны, создавалось не только ощущение, что от него исходит ровный и спокойный свет, но еще и казалось, что из его непроницаемой глубины на тебя кто-то внимательно смотрит.

— Да, кум, много я с тобой всякой чертовщины нагляделся, но такое вижу впервой! — почему-то шепотом произнес Митрич. — Пойдем-ка отсюда, не по себе мне что-то.

Опасливо косясь на геологический парадокс, они торопливо зашагали к противоположному

проходу. Вскорости пелена водопада осталась позади, разбойники выбрались на небольшой горный выступ и, щурясь от яркого солнца, увидели на берегу, откуда к их ногам вел неширокий веревочный мостик, забавную картину: пожилого степенного бандита, посланного для подстраховки на ту сторону водопада, охаживала суковатой палкой сухонькая старушка в овчинной безрукавке, надетой поверх длинного серого платья. Мужик уворачивался, закрывая лицо и голову руками, отталкивал странницу, не давая ей пробиться к мосткам. Оба что-то кричали, но из-за шума воды ничего не было слышно. Митрич кошкой скользнул на берег и, перехватив бабкино орудие, прекратил потасовку. Следом, осторожно ступая по связанным веревками жердям, спустился Макута.

Старушка опешила и, оставив оружие в руках телохранителя, попыталась с поразительной проворностью юркнуть за выступ скалы, но была остановлена своей недавней жертвой.

— И что это у вас тут за битва? Может, нашли чего да не поделили? — старательно вглядываясь в лицо старухи, спросил атаман. — Вроде знаю тебя, а вот не припомню, чья ты, мать, будешь?

— А ты небось мой непутевый сродник Макута, — сварливо произнесла бабка, выдирая из рук Митрича свою клюку. — Мало что бандитствуешь сызмальства, так еще к нашей фамилии басурманский привесок присобачил, навроде поганого хвоста. «Бей» он, видишь ли.

— Тетка Ганна! Вот уж кого не чаял сустреть! Грешным делом думал, тебя давно схоронили, а

гляди-ка, вполне живенькая старуха! — обрадовался атаман, пропуская мимо ушей ее колкости. — Все! — обратился он к разбойникам. — Свободны! Мы сами до бивака доберемся. Вы там насчет чаев распорядитесь, как-никак старейшину Макутиного рода в гости веду. Тебе ж, тетка, уже за сто перевалило?

— Глянь ты на него, признал! Только хоронить ты мене, Вовка, рановато вздумал, настояща жисть токи опосля ста годов начинается. А мне-то с позапрошлой луны уж как-никак стош*о*стый пойшел!

— Вот это да! А я ведь, бабуля, искал тебя! — обнимая родственницу, которая доводилась его покойному отцу теткой, прочувствованно сказал Макута. — Меня уже годов с тридцати никто Вовкой не называл. В ту страшную зиму, когда правительство, почитай, всю Чулымию выжгло, я, как волк, метался по глухой тайге, а зима — это тебе не зеленка, каждый след, каждa царапина на снегу супротив тебя кричат. И все равно, как про беду вашу прознал, людей отправил да и сам вскорости к дедовской заимке прикочевал. Нелюдей тех, кто на вас беду навел, мы наказали...

— Зло само себя наказыват! — перебила бабка сродника. — Главно, чтобы, через кого наказанье идет, сам злом не стал. Приставуче оно больно, зло-то! Про тебя много знаю, — старуха отстранилась и склонила свою, в таком же сером, как и платье, платке, голову слегка набок, отчего сделалась похожей на старую мудрую волчицу, — где люди что шепнут, где сама узрю, много знаю, Вовка, ой много!

— Пойдем, тетя, покормлю тебя, чаем побалую да покалякаем о том о сем. Совета мне надо, а взять не у кого, я ведь тоже один как перст. Из стариков никого уж нет, а с молодежью что... Пойдем, не обижай.

— Нечто тебя, супостата, обидишь? — по-доброму проворчала старуха и, опершись на клюку, пристально глянула куда-то далеко за Макуту. Атаман инстинктивно обернулся, позади него зияла черная полость рукотворного тоннеля, образованного водой и скалой. В том, что это так и есть, он теперь почти не сомневался.

— Знашь, тетка, что там? — само собой сорвалось с языка.

— Знашь не знашь, тебе-то что? Место там святое, и лучше бы вам его не касаться. Вы тут поднюйте, поночуйте, да и аргашьте себе восвояси, почто зря в глуши-то торчать? Пошли уже, пои стару тетку чаем, есть я не буду, высохла, яко лесина, соков совсем нету. Стар человек — он ровно суха палка, крепок да ломок.

Макуте показалось, что тетка, словно лиса, пытается побыстрее отвести его подальше от этого места, как от своей норы. Ох, неспроста она здесь оказалась, да и неизвестно еще, она ли это, ведь тогда, двадцать лет назад, ему определенно сказали, что всех на той заимке повыбили, а тела, чтобы не долбить могилы в мерзляке, бросили в Чертову топь, которая из-за горячих ключей в самые лютые морозы не застывала. «Вторая нежить за сутки, этого даже для меня многовато», — недоброй тенью метнулось в его голове.

Тетка не спеша, припадая на левую ногу, мирно ковыляла рядом, с виду человек как человек, только очень старый и действительно высушенный жизнью и горем. Хотя у нас издавна повелось, что жизнь и горе — если не одно и то же, то уж слишком часто вместе, никак им друг с дружкой не разминуться.

— А где же ты живешь? — неожиданно резко прервал молчание Макута, боковым зрением разглядывая невесть откуда свалившуюся родню. Он напрягся, пытаясь хоть что-то прочесть на сером морщинистом лице.

— Да недалече, на Дальнем Караташе, может, знашь? — буднично назвала она самое странное и жуткое место в округе.

Макута чуть не споткнулся на ровном месте. Час от часу не легче! «Черная гора», «Шайтан-клык», «Чертов палец», «Тот свет», «Заимка ворона» и еще с десяток таких же сумрачных топонимов обозначали одно и то же место. Находилось оно в двух днях конного перехода, представляя собой угрюмую одинокую скалу на высокогорном плато, каменистую и начисто лишенную растительности внизу, с густо поросшей вершиной, к которой вела одна-единственная тропа, более похожая на вырубленную в горе лестницу. Никто не видел человека, который бы отважился подняться туда без особой нужды, даже искатели дикоросов и старины к этой угрюмости и близко не совались.

Бывают такие места, где не только путнику, но и неразумной скотине страшно. Ржанет коняшка, застрижет ушами, недобрым нальется глаз, и тогда

уж держи крепче поводья, не то в мгновение ока очутишься на каменистой земле и, если даже повезет не попасть под копыта, скакуна своего искать будешь долго, если вообще сыщешь.

К таким недобрым уголкам и относилась местность, названная теткой. По преданиям, на той горе жили ведьмы, и только самые отчаянные бабы отваживались подняться метров на триста по тропе и оставить на широком плоском камне свои подношения с написанной на бумажке просьбой о помощи. На третий день полагалось вернуться за ответом. Иногда и еда, и записка так и оставались нетронутыми, но в большинстве случаев просителя ожидал ответ в виде бутылки с водой, узелка с солью, пучками каких-то странных кореньев и трав, баночки с вязким зельем или незатейливого, обычного на вид камешка. Самые смелые охотницы, а таких всегда бывало больше, чем мужиков, обуреваемые жаждой узнать свое или чье-то будущее, а то и желавшие извести кого-то со свету, отваживались на полное безрассудство — оставались ночевать в просторной сухой пещере, что располагалась метров на сорок выше стола для подношений. Идти на ночевку полагалось голяком, в одном свободном, без всяких железных застежек, специально сшитом для этого костяной иглой балахоне. Зимой подобную одежду полагалось надевать в самой пещере, где почти всегда тлел сооруженный справа от входа очаг. Ночью в пещеру спускалась одна из ведьм, но никто вам доподлинно не скажет, человек ли это, дух в людском обличии или просто призрак. Да и вообще, о визитах на «Чертов палец»

даже самые большие смельчаки помалкивали, так что Макуте было отчего призадуматься.

— Тетка, так ты что ж, одна из насельниц Чертовой горы? — после продолжительного молчания выдавил из себя атаман, продолжая украдкой коситься на родственницу.

— Много ты, гляжу, в чертях разбираешься! — обиженно возразила старуха, остановилась и, не мигая, уставилась на постаревшего племянника, потуже затянув узелок платка под подбородком. — Для вас что непонятно, все — черт! Вы ж только свой страх Богом и почитаете. Чего боитесь, тому и молитесь! А вот в нашем дому отродясь никаких чертей не было, потому как мы Богу угодны. Только от ваших богов наш шибко отличается! Я тебе боле скажу, мот, ваши-то боги чертями-то и являются, и это вы — поганцы языческие, а мы как раз в истинной вере пребываем. Так-то! — Тетка замолкла и, довольная собой, зашагала дальше.

— Да погоди ты, старая, за тобой не угонишься! Давай вот присядем, — смахивая несуществующие соринки с отполированного вешними паводками полутораобхватного бревна, предложил Макута. — Ты мне по-родственному кое-чего разъясни. Ты же старейшая в нашем роде.

— Нешто тебе, лихому атаману, бабьи мозги понадобились? — явно польщенная, бочком присаживаясь, буркнула старожилка. — Да знаю я, чего ты у меня выведывать начнешь...

— Ты мне наперво, мать, ответь, с чего это ты в такенную даль к водопаду приперлась, видать, ежели пешью, дня три топала?

— Через горы напрямки, да по пещерным лазам оно и в день управиться можно. А что делала? Так вестимо что — за водой пришла, как раз последний бурдюк наполнять и шла, когда твой мордворот мне путь-то застил. Сосудину в куст насилу успела сунуть, остальное сам видел.

— Не далече ли за водицей ходить? Ежели мне память не отшибло, у вас там с горы ручей скатывается. Студеный такой, ажник зубы ломить!

— Скатываться-то скатывается, а для нашего дела вода та негожа. Похлебку какую сварить, отвар запарить на ней можно, а настоящие леки из ней не выйдуть, и для прорицаниев негожа.

— Чем же эта вода от той отличается? — гнул свое бей. — Я и ту и другую пробовал, большой разницы не узрел. А здеся, — он махнул на шумящий справа водопад, — и вовсе все детство пробарахтался, как поросенок.

— С виду да на вкус всяка водица подобна, — с нотками учительства отвечала тетка, — а незримото большое между ними различье, така вода только в этом месте и боле нигде. Так что хошь не хошь, а таскать приходится...

— А это не оттого, что тут вход в Шамбалу? — как ему казалось, совершенно спокойно перебил тетку атаман.

— Может и оттого, — в тон ему отозвалась тетка. — Только она вскорости вновь сокроется, сторона эта заповедна...

— Кто?

— Дыра живая, что в Беловодье ведет. Недолго уж осталось, око туманиться зачало, прожилки по-

шли, скоро совсем посереет, — грустно, как непреложный факт констатировала старушка. — Когда вновь отопрется, одна Белуха и знает!

Малюта слушал чуть ли не с открытым ртом. Слушал и ушам своим не верил.

— А отчего она вскрылась, эта дыра? И главное, когда это сталось?

— Давно, может, уже с год. Да не всякому она открытой-то видится. Можешь рядом днями ходить и ничего не узришь. Тут боле на внутренний взор надо полагаться. Стары и знающи люди сказывают, может, раз в сто лет облегчаются входы в тайные лазы, и послы от Неведомых к нам извергаются, глядять, значит, как мир живет: лучшей ли, хужей мы сделались, приспело ли время открыться для ученичества нашего...

— А кто же это в подземельях живет и пошто от людей и света Божьего хоронится?

— То тайна велика, никто ее не знат. А пещоры, оне что? Оне токмо входы, а лазы куда ведут — неведомо. Никто там не был, а кто и был, до конца все одно не добредал. Одно те скажу — свет там и благодать, по себе знаю. Да что я с тобой сижу-то, — всплеснула руками старушка, — ровно балаболка кака! Пошли, чаем городским напоишь, да и восвояси мне надобно. — Бабка прытко поднялась, но потом, будто что-то вспомнив, присела обратно. — Ты про чо меня спросить-то хотел?

— Да ответила ты на мой вопрос, — задумчиво потирая небритый подбородок, отозвался атаман. — А когда она совсем затворится, знашь?

— По всему выходит, в нонешнюю ночь, — перебирая пальцы, словно что-то подсчитывая, ответила тетка.

— Ну, коли ныне, то, пожалуй, они и не успеют, — больше для себя, чем для спутницы, произнес Макута. — А вот скажи, коли входы исчезнут, можно ли их будет силой пробить?

— Ты чего это, голубь, замыслил? — с опаской глянув на сродника, насторожилась старуха.

— Ничего, мать, плохого. — И бей рассказал тетке все, что знал о грозящей тайному миру опасности.

24.

Все произошло быстро и неожиданно. Они, как и в прошлый раз, самозабвенно целовались, упав в высокую траву. Земля кружилась в нестерпимом блеске солнца, жужжании пчел и тяжелом запахе примятых трав. Неясная и зовущая истома разлилась по телу девушки. Что-то должно было с ней произойти, и она не сопротивлялась. Реальный мир потерял свои очертания, Маша зажмурилась, ей казалось, она проваливается в какое-то сладостное беспамятство. Очнулась она от своего не то стона, не то крика и каких-то совершенно необычных ощущений. Енох еще продолжал глупо двигаться, громко дыша широко открытым ртом, и только сейчас девушка почувствовала, какой он тяжелый и сильный.

Потом они плескались в ручье и долго грелись на плоских, раскаленных как сковородки камнях.

Ей не хотелось ни о чем думать, просто было хорошо. Она стала женщиной, и что-то новое, доселе неведомое родилось в ней, она еще не понимала что, и с любопытством прислушивалась к своему новому состоянию. Рядом лежал мужчина, ее мужчина, большой, сильный и какой-то весь лохматый, не человек даже, а некий пришелец с далекой и незнакомой планеты. Маше до нестерпимости хотелось юркой ящеркой подползти к нему и бессовестно изучать, трогать, пробовать этот новый, невесть откуда свалившийся на нее мир. Однако стоило только на несколько сантиметров подвинуться в сторону Еноха, как дремлющие в них разнополярные магниты оживали с силой, равной молодости и безрассудству, и вновь спрессовывали их тела в единое целое.

Поразительно, минула почти половина дня, и доброе, всевидящее солнце уже нехотя засобиралось на свой неведомый постой, а они еще не произнесли ни слова. Шепоты, вздохи, какие-то полудетские клятвы, отрывистые вскрики, бесконтрольный смех и длительные, как ныряние в океане, поцелуи заменили им человеческую речь. До дрожи не хотелось возвращаться к реальности, восстанавливать способность говорить и четко мыслить.

Тело человека на то и отделено Господом от его духовной основы, чтобы не дать нашим диким порывам угробить его в одночасье. Коленки, локти, ягодицы у обоих были безжалостно стерты, вместе с красными пятнами расползались еще какие-то, причудливо расцвеченные зеленью раздавленной травы и чем-то желтым, лепестки высокогорных

цветов походили на причудливую татуировку; на спинах были прочерчены неглубокие, тонкие порезы от вездесущих песчинок; губы набухли, противно ныли и готовы были в любое мгновение потрескаться, а тела постепенно набрякли свинцовой тяжестью, будто по ним хорошенько прошлись бамбуковыми палками.

Маша представила себя со стороны и содрогнулась, неприглядную картину завершали спутанные, полные сора волосы, а ни гребня, чтобы их расчесать, ни платка, чтобы прикрыть, у нее не было. А тут еще Енох, сияющий, как теткин воскресный самовар, напялив на себя штаны и рубаху, как ни в чем не бывало принялся ее расспрашивать о пещере и Эрмитадоре. Слезы обиды и стыда подкатили сами собой. В голову полезли всякие недобрые мысли, неведомая доселе ревность черной кошкой вцепилась в сердце.

«Дура, что ты скажешь матери, она ведь обязательно до всего дознается! Сраму-то, сраму будет! Да даже сейчас, в лагере, любой человек непременно скажет, а не скажет, то уж подумает обязательно: “Это та, что забыла всякий стыд. Хороша же доченька у Званской!” — да и поделом!»

Не обращая внимания на недовольного Еноха, который, верно, по-своему истолковал ее молчание, Маша незнакомой ей походкой пошла к ручью, разделась и, обжигаясь ледяной водой, принялась оттирать тонкими поролоновыми вкладышами, вытащенными из лифчика, противную зелень с колен и локтей. Опустившись в сумасшедше мчащуюся воду, которая так и стремилась утянуть ее в

свою стремнину, девушка пыталась остудить без меры разогретую кровь, а главное, вернуть способность трезво мыслить. Слезы катились по мокрому лицу незаметно и очищающе. Она с остервенением терла кожу и полоскала волосы, освобождая их от травинок и мелких соцветий, и наконец, дождавшись момента, когда холоднющая вода стала казаться теплой, резко вынырнула из потока. На берег вышла уже не обиженная и испуганная девчонка, но женщина, которой ведомы тайны жизни и смерти.

— Не обижайся на меня, Ен, уж больно необычный выдался день, — потрепав по шевелюре сидящего к ней спиной Еноха, примирительно произнесла Маша. — У тебя случайно расчески нет?

Расческа у него нашлась. Тщательно расчесав свои соломенные волосы, которые на жарком солнце моментально высохли и даже начали слегка кудрявиться, подивившись своим недавним обидам, девушка буднично чмокнула своего избранника в ухо и присела рядом, слегка покачивая головой и любуясь теплой игрой солнца в своих пышных и густых прядях.

— Я не помню ничего из того, что произошло с нами прошлой ночью в пещере. Когда ты меня туда бросил, привязав к трупу твоей бывшей любовницы...

— Ну что ты! — испуганно вскрикнул Енох, вскакивая с места. — Я тебя и не думал туда бросать! Ты сама, сама, словно безумная, настаивала на этом, а вязал тебя и толкал Сар-мэн! Когда вы исчезли в камне и покрывало обратилось в сталь, я

чуть с ума не сошел! Как ты можешь меня упрекать! Я люблю тебя, и с этого дня никуда не отпущу, даже на мгновение!

Ей было странно слышать, как он оправдывается, и еще она почувствовала, что слова эти звучат не совсем искренне. Маша еще не знала, что любое оправдание всегда замешано на трусости и лжи.

— Успокойся, милый, видишь, все обошлось, — ей почему-то хотелось добавить: Сармэн, толкая в бездну, спасал свою любовь, а вот кого или что спасал ты, мой милый, помогая ему в этом, неизвестно; однако она промолчала и продолжила: — Мы упали во влажный серебряный туман, подсвеченный снизу, и свет этот казался материальным, он не давал нам камнем рухнуть вниз, мы медленно опускались, пока не попали во вращающуюся в разных направлениях световую воронку. Я улетела по часовой стрелке, а Эрми в обратную сторону... и все...

— Как все?! А что было в пещере, кто там есть? Видела ли ты того старика, про которого вы рассказывали с Дашкой? — заглядывая ей в глаза, выпалил Енох.

— Не было там никакой пещеры, ни стариков, ни девок, ни челна, там был теплый, добрый, яркий свет, тишина и покой, и все. А потом я очнулась от холода на лугу у водопада. Испугалась и стала звать тебя.

— Глупышка! — обнимая готовую заплакать от жалости к себе девушку, произнес Енох, целуя глаза возлюбленной. — Слава Богу, все позади! Пой-

дем в лагерь, а то нас, думаю, давно хватились, а может, и ищут.

По дороге разговор не клеился, каждый молчал о чем-то своем.

А в это самое время, на камнях, уже согретых солнцем, у самой Бел-реки, которая начинала свой могучий бег мелким широким ручьем, сидела Даша и негромко разговаривала со своим женихом. Разговор вертелся вокруг одной темы — будущей свадьбы. Про это важное событие знали уже все: и разбойники, и деревенские, да и барыня громогласно об этом объявила дворне, правда, оговорив обязательную Юнькину порку на конюшне. Но этакой мелочи значения старались не придавать, тем более что совершать экзекуцию должен был старый приятель Прохора, ветеран Кавказских войн, престарелый инвалид Дон Петро де Анчоус, служивший когдато в армии Арло Великого, доб ровольно сдавшегося в плен под пограничным городом Одинцовом. Правда, сдача эта была вроде не совсем добровольной, а завязанной на любовной интриге, с изменами и дуэлями, но происходило все так давно, что и концов сегодня уже не сыскать.

— Главное, ты с Макуты-то барыш за трофею стребуй, — нежно поглаживая лежащую на коленях голову будущего мужа, вкрадчиво внушала Дарья. — Кто ж его знат, коды еще такой случай подвернется. Да и с Сар-мэна, — немного подумав, продолжила она, — тоже след какие-никакие таньги слупить за воскрешение этой городской лахуд-

ры. Через твою тряпицу все это святотатство сотворилось. И как он с этой мертвячкой любиться дале будет, уму не приложу. Как вспомню ее, холоднющую яко лед, в той пещоре, так мураш по шкуре снует! Б-р-р-р-р!

— Во-во! С атаманом ты верно придумала! Ну и голова! — вскакивая и крепко хлопая себя по коленкам, выпалил Юнька. — Я бы до энтого ни в жисть не додумался! Ай, молодца! — От избытка обуявших чувств, он схватил лежащую рядом длинную палку и стал, как ребенок, колотить ею по воде. — Машину, японку я с него стребую, трехлетку! — Палка хлопала о воду, вздымая фонтаны брызг. Неожиданно ее конец выдернул из воды, словно рыбину, какую-то тряпку, и та, пролетев над их головами, шлепнулась позади.

Даша обернулась, подняла ее и вскрикнула от неожиданности, в ее руках был лифчик хозяйки.

— Маша, барынька моя неразумная! Что он, изверг, с тобой сотворил? Зови народ! Прибьет меня Званская, прибьет, и поделом, поделом мне будет! И все из-за тебя, ялдырь окаянный! Ну, чего уставился? Пали! — тыкая в лицо опешившему Юню мокрой ажурностью, кричала служанка, пытаясь выдернуть у него из-за пояса обрез.

— Да погодь ты! Охолони! — вырывая из рук любимой опознанный грудедержатель, утихомиривал суженый. — Чего блажишь? Лиф-то цел, во, гляди, подкладки токи выдраны, так, мот, они там чего...

Договорить парню не дала смачно шлепнувшая его по лицу женская упряжь.

— Тогда пошли шукать! Пока не узрю, не утишится мое сердце, — уже спокойнее произнесла Даша и, подобрав подол платья, перешла ручей вброд по мелководью и направилась вдоль будущей реки туда, куда после завтрака поволок хозяйку в горы этот несносный Енох.

Парочку они заметили издали и успели от греха подальше шмыгнуть в кусты. Енох с Машей плелись довольные и утомленные, словно пересосавшие маму телята.

— Кожаным ножиком он ее, что ли, весь день терзал? — ехидно зашептал Даше в ухо Юнька, и тут же мокрый лифчик очутился у него во рту в виде кляпа.

Хозяйка и ее кавалер уже скрылись за выступом, и Даша стала подниматься, чтобы выбраться на дорожку, как с той же стороны, откуда только что вышли влюбленные, прижимаясь к скале и обходя камни, мимо них проскользнул человек в камуфляже с оружием на изготовку. Девушка прижалась к земле и глянула в сторону своего спутника, но того рядом не было, на примятой траве лежал только Машенькин лифчик.

25.

В отличие от придуманной, всякая настоящая авантюра не случается вдруг, а долго и медленно зреет, потом падает неожиданной грозой и, поразив своими масштабами, начинает кружить, вовлекая в свой уже бесконтрольный водоворот все но-

вых и новых людей, а порой и целые страны и даже континенты.

Никто не мог предположить, что негромкая операция отечественных спецслужб может так обернуться. Месяца полтора назад Эрмитадору Гопс вызвали в Кадастр Главной Бдительности, в кабинет самого Костоломского Эдмунди-Чекис-оглы. После двенадцатиминутного приветствия в комнате отдыха, довольный глава Всесибрусской опричины уселся в свое неудобное деревянное кресло с высокой прямой спинкой, имитирующей гильотину, закурил длинную папироску и, попыхивая сизоватым дымком с весьма специфическим запахом, углубился в чтение лежавшей перед ним толстой книги, распахнутой как раз на середине.

Читать Эдмунди Чекисович, как и всякий высокопоставленный чиновник, не любил, не желал и ленился, однако модные книги дома и в кабинете держал и даже смотрел снятое по некоторым из них кино, так что при желании вполне мог составить суждение о написанном светилами мировой словесности. Суждения эти были, конечно же, ходульными, однобокими и до беспредела убогими, но кто мог об этом поведать главному людоеду страны? Вот и выходило, что именно он и вещал основные культурные истины, которых с трепетом ждала подобострастная интеллигенция, чтобы в мгновение ока подхватить и растащить в своих мягких лапках по тихим и сытым квартиркам и рабочим кабинетам. И там, в безопасной, как им казалось, тиши, улечься за письменный стол и потихоньку, смакуя, облизывать и обсасывать услышанное, распуская

липкие слюни на собственные листки, газетки, программки, книжонки, шоу и прочие носители «абсолютной правды и справедливости». И все это делалось в угоду и во благо народа, который жаждал именно такой, а не какой-то иной правды, а правда, как известно, и живет лишь в Кадастре Главной Бдительности. Чего не сделаешь во благо любимого и драгоценного народонаселения...

Чтение он имитировал минут двадцать, а сам наслаждался послевкусием знакомства, сдобренным забористым чуйским самосадом, и украдкой наблюдал за принявшейся уже скучать девицей.

«Эх, хороша Гопсиха, можно было бы, конечно, и в штат взять, да кобели мои соком изойдут, перегрызутся, а уж она для этого расстарается, в доску расшибется, а контору морально разложит. Да и опасно ее долго без адреналина держать, еще спалит что-нибудь, дипкорпус развратит или взорвет чего. Это же надо, в прошлый раз у бронзовой статуи маршальского коня яйца заминировала, после взрыва пришлось жеребца перековать в кобылу. Нет, что ни говори, хорошо, что мы с этими маршалами да военачальниками покончили, нет их — и тишина, и мир кругом, и никаких баталий. Война ведь только от военачальников исходит, никому другому в голову не придет впустую гробить такую пропасть народу. Мудрым все-таки человеком был Преемник Третий, когда Генеральный штаб в Генеральский преобразовал и министром обороны родственника премьерского поставил!

Что же это я все о делах? Баба молодая сидит, скучает, а я о военных! Может, еще пойти с Гопси-

хой поприветствоваться? — и покосившись на подопечную, отметил: — А губы у нее ничего, отменные губы, пусть потрудится, не отвалятся, чай!»

Повторное приветствие получилось затяжным, пришлось отсрочить коллегию, на которую народ прибыл из всех окуемов Необъятной. Но дисциплина на то и дисциплина, а генералы на то и генералы, чтобы аудиенции к ним в приемных часами, а то и днями ожидать. На то она и царева служба. И вот, с горем пополам, доведя не совсем государственные целования до столь желанного ему конца, главный опричник так расчувствовался и размяк, что предложил рыжей бестии самой выбрать в сейфе пару госсекретов, годных для продажи на международном аукционе, не деньги же ей давать в самом деле! Но продувная и тертая во всех отношениях девица предпочла секретам небольшую квоту на газ. А что делать, время нынче такое, все на газу да нефтянке зиждется. Как они кончатся, сейчас же конец света и наступит.

Чтобы сократить время на доведение нового задания до суперсекретного агента, было принято решение инструктаж провести прямо на разболтанном широком диване в комнате труда и отдыха.

— Агент Апостол! — как можно строже произнес Эдмунди. — Вам поручается задание государственной важности и строжайшей секретности. Детка! — переходя на покровительственный тон, продолжил он. — Тебе предстоит проникнуть в Шамбалу...

— Лучше уж сразу обратно к мамке в уютное место! — возмущенно перебила его Эрмитадора. — Шамбалу эту драную, как дурак писаную торбу,

весь мир уже которое столетие ищет! А я вот пойди и внедрись!.. Мозги у тебя только хуже работают...

— Молчать! Я ее, можно сказать, как золотой запас берегу! Не дергаю понапрасну, для самого ответственного припасаю, а она выкобенивается! Молчи и слушай. Нашли мы эту Шамбалу! Да не таращи ты зенки, правду говорю! Смотри, у меня даже план есть, как туда попасть. — Он извлек из глубин дивана небольшую картонку, на которой был наклеен пожелтевший от времени и истлевший на сгибах кусок материи, испещренный едва видимыми знаками.

Эрмитадора, как гончая, почуявшая зверя, напряглась, забыв про обиды и препирательства, вытянула свою красивую шею и во все глаза уставилась на старинный план. Будучи прирожденной авантюристкой, она с раннего детства тянулась к подобным вещам: древние карты спрятанных сокровищ, подземные катакомбы исчезнувших культов, тайные организации, государственные перевороты — все это тянуло ее к себе, как магнит. Когда ее сверстницы еще играли в куклы, она уже в домашних условиях варила нитроклетчатку и взрывала мусорные ящики. Эдмунди и глазом не успел моргнуть, как картонка с планом оказалась в руках рыжеволосой, которая, обойдя диван со стороны окна, бесцеремонно подняла жалюзи и с нетерпением одержимой принялась изучать план.

— Это древняя штука, очень древняя! Где взяли? — И, увидев надувшееся значимостью лицо главкома опричников, скорчила кислую мину, предостерегающе выставив вперед изящную руку. —

Только не вкручивай мне, что это твои барбосы нарыли! Кишка у них тонка! Ладно, давай задание, я согласна!

Гопс на все соглашалась сама, если это имело привкус настоящей авантюры, так было с самого начала ее работы во всесильном ордене «Песьих голов», суть которого она изучила настолько хорошо, что при случае могла использовать его силы в личных целях, и, надо сказать, в этом она была не одинока. А что здесь плохого, всяк пользует свою работу на личное благо, что токарь, что инженер, что чиновник, что тот же брат-опричник, неужто он хуже других?

Еще будучи малолеткой, перед поступлением в Сорбонну Гопс подкатилась к Эдмунди, тогда средней руки опричному начальнику столицы, и тот набросился на ее прелести, как кот на валериану. Встречи становились частыми, порой она сама себе удивлялась, откуда все это в ней бралось, ведь не учил никто, не советовал, видать, врожденный талант, решила она и стала им пользоваться, словно домушник отмычкой. Однажды, пока хозяин кабинета похрапывал, объевшись «скороспелой клубничкой», Эрми, дрожа от страха и возбуждения, сперла у него ключи от сейфа и за час переснял а на микропленку все оперативные документы на членов некоего элитного писательского клуба, а писателей официальная пропаганда тогда долго и усиленно прочила в главные смутьяны Отечества. Но все это на тот момент было абсолютной чепухой, а даже и совсем наоборот. Однако какая держава может жить и процветать без внутреннего, а потому и самого коварного врага? И вот на почетное место

врагов были назначены стареющие писатели, книги которых уже давно не читали, а имена и вовсе позабылись. Но у кого надо память длинная, а посему о предполагаемых врагах было доложено на самый верх. Юная Эрми в то время крутила свою третью настоящую и безумную любовь с писательским предводителем, бывшим футболистом и маститым поэтом Тавром Пелопонесским. Спасая любимого от неминуемой, как ей казалось, гибели, она и пошла на этот рискованный шаг. Фотографии документов ушли за бугор, грянул скандал, и любимого никто трогать не решился.

Однако любовь, как и все настоящее, прошла до обидного скоро. Отгремела канонада международной баталии, Объевра, а за ней и Великолепная семерка успокоились. В недрах трехбуквенного ведомства прошли чистки, разборки и выяснение путей утечки секретов. Человек восемь самых лучших стукачей подвергли высшей мере либеральной защиты; многие в опричном ведомстве послетали со своих мест и были переведены в рядовые банкиры; Эдмунди не тронули из-за близости к верхам по линии жены и даже поручили ему руководство грандиозной операцией по разгрому обширной шпионской сети, бессовестно окопавшейся под вывеской «Всеангликанского союза», якобы ведавшего делами мира и образования. Каковы лицемеры! Паправнуков «железного дровосека Феликса» на альбионской мякине не проведешь! Союз был разогнан в кратчайчие сроки и без особого шума.

Вот здесь, со своими разочарованиями в сердечных делах и готовностью броситься в любую аван-

тюру, вторично и вполне добровольно объявилась расцветающая Эмитадора Гопс, не то дочь, не то падчерица стареющего барона, а в далеком прошлом лидера молодежного движения «Не чужие». Барон и теперь оставался неравнодушным к молодому поколению и, должно быть, поэтому содержал в своем огромном поместье приют для девочек-сирот. Как и чему там обучали бедняжек, доподлинно неизвестно, но некоторые из них, за отдельные, только барону ведомые заслуги, одаривались его фамилией и титулом. Говорят, Эрми как раз была из таких.

Старое воскресает быстро. Бывшая малолетка не только повзрослела и превратилась в суперлюбовницу, но и оказалась прилежной ученицей по прямой опричной профессии. Выпорхнув из-под иезуитски мудрого Эдмунди, она зажила путанной, полной опасностей и подлости жизнью. Дело «Всеангликанского союза» было только началом ее пути. Во время учебы в лекторальной зоне Французага не без ее участия разразился страшный скандал с разоблачением террористической организации «Голубые бригады», активисты которой требовали восстановления интимности однополой любви, отмены запрета гей-парадов и совмещения подобных шествий с праздником десантников или первомайских демонстраций. Потом был скандал с разбодяживанием нефти отработанными маслами и никуда не годным мазутом, потом не совсем приличные истории в арабском мире, после чего часть газовых промыслов отошла под контроль афроюсов, и их ястребам ничего не оставалось делать, как присту-

пить к выводу ограниченного контингента своих войск с Ближнего Востока, а это оказалось еще более тяжкой проблемой, чем ввод. Армия настолько глубоко ушла в военные действия, что каждый солдат, не говоря уже об офицерах, обзавелся персональным гаремом, принял ислам, вовсю торговал казенным имуществом и паленым бензином на многочисленных базарах бывшей Саддамовской империи. А в торговых делах у нас сам черт ногу сломит, какая уж здесь война? Да и вообще, в последнее время воевать стало совершенно немодным, ибо, как ни воюй, себе же дороже выходит.

Кипела жизнь вокруг Эрмитадоры, а подозрения даже легкой тенью не скользили рядом с ее стройными ножками и аппетитной попкой. Вот такой находкой, а может, и бедой для страны сделалась эта набравшая силу молодая женщина.

— По твоим способностям это пустяшное задание, — оттаскивая от окна не удосужившуюся одеться агентшу, наставлял Костоломский, — до Чулыма мы тебя доставим на самолете, там легализуешься. С нашими в контакты не вступаешь, ищешь повод, внедряешься в банду своего дружка по Сорбонне, а уже с его помощью до водопада рукой подать. Собой понапрасну не рискуй, второй такой, — умело польстил опытный вербовщик, — у страны нет, но до подхода военных ты должна в пещерах побывать, это очень важно. О том, что там на самом деле, доложишь лично мне по спутнику. С чем ты там столкнешься, я не знаю, не исключено, что тебя ожидает встреча с самой что ни на есть

чертовщиной; и хотя тебе не впервой, надо быть начеку. Главное помни: агента губит не чертовщина, а человеческий фактор во всем его непредсказуемом разгильдяйстве. Черта просчитать можно — человека никогда! Без твоего доклада военные ничего предпринимать не станут, хотя там этот дурак Воробейчиков сидит, а от него всякого ожидать можно, так что ты постарайся не затягивать с путешествием в бездну. Ты же у меня умница, — притягивая к себе принявшуюся одеваться Эрми, проворковал опричник, — нырнешь, глянешь, оценишь и обратно. Делов-то! Только умоляю, без самодеятельности, тебя сейчас проведут в наш спецхран и ознакомят со всеми материалами на эту тему, надеюсь, это тебе поможет и убережет от опрометчивых шагов. И гляди там у меня, перед Махатмами ноги не раздвигай, с тебя станется, я-то знаю!

Эмитадора помнила этот инструктаж до мельчайших подробностей, до пыли на подоконнике в комнате отдыха шефа, до запахов, звуков и даже своих на тот момент мыслей. Она помнила все свои дальнейшие действия, разговоры, ассоциации, помнила все три сеанса связи, последний был как раз перед тем дурацким выстрелом, который ее убил. Смерти она испугаться не успела, просто солнце стало черным, а все вокруг серым, мир лихорадочно закружился, образовывая гигантскую воронку, которая стремительно всосала ее в себя. А потом погружение в пугающую своей бесконечностью пустоту. Свет пришел неожиданно, она поначалу его даже не заметила. Жизнь вернулась в тело громким

бульканьем крови в пустых сосудах и артериях, хриплым и в начале с перебоями стуком сердца; неприятнее всего далось восстановление дыхания, грудь разрывалась от нестерпимой распирающей боли, хотелось кричать, но звука не было, а только сипящее дыхание и боль. Она постепенно приходила в себя. Ей казалось, тело словно висит в каком-то желтоватом мареве, которое постепенно замедляет свое вращение и превращается в теплый упругий свет. Было уютно и хорошо, казалось, нет ни ее самой, ни материального мира с его бедами и жестокостями, есть только невесомость и покой, вечный и безбрежный покой, из которого все происходит и в который все возвращается. Потом был чей-то взгляд, отстраненный и виниматеьный. Внутренне она содрогнулась и повернула к нему еще незрячее лицо. Из белого клубящегося света на нее смотрели огромные серые глаза. Смотрели внимательно, не мигая, в них не было ни тепла, ни холода, ни любопытства, только внимание и непонятная, всеохватывающая сила. Сила, которая смогла сотворить невозможное, вернуть ее в то состояние, что все мы привыкли называть жизнью. Долго ли это сопрокосновение взглядами продолжалось, она не помнит, вдруг что-то словно щелкнуло, и свет сделался не таким ярким, вращение прекратилось, и она стала опускаться. Вот и все.

Очнулась Эрми на луговине у водопада. Глаза открылись с трудом и не сразу. Окружающий мир показался ей некрасивым и чужим, захотелось перестать дышать, чувствовать, видеть, поскорее вернуться обратно, в блаженную легкость пустоты и

пульсирующего света, однако оказалось, что по своему желанию человек этого сделать не может, для этого он должен умереть.

А потом прибежали все, галдели, трясли ее, тискали, щипали, заставляли пить, есть и, самое страшное, говорить. Говорить Эрмитадора упорно не хотела и боялась, голос был совсем не ее, она его пугалась и слышала словно со стороны, еще тяжелее было жевать и глотать пищу, поэтому, чтобы не обидеть Сар-мэна, она соглашалась пить чай и какие-то невкусные отвары. Тело постепенно вспоминало привычные движения, позы, жесты, но вместе с тем внутри разрасталось что-то новое, доселе неведомое и оттого пугающее. Женщина с удивлением отмечала в себе странные особенности, она не могла долго находиться на солнце, его тепло моментально обращалось в энергию, и тогда ее распирала необыкновенная жажда деятельности, а мышцы наливались свинцовой тяжестью и несвойственной ей ранее силой. С ее физическими возможностями творилось черт-те что. Как-то, возвращаясь в юрту атамана, она без особой надобности легонько пнула ногой здоровенный, с бычью голову, камень, а тот, словно волейбольный мяч, улетел далеко в сторону, благо никого не зашиб. Потом, чтобы себя проверить, Эрми рубанула тыльной стороной ладони по довольно толстой березе, и та, как подрубленная топором, рухнула к ее ногам. Или, например, беря в ладонь камень, она остерегалась раздавить его в пыль. Открытия эти нисколько ее не радовали, но оставляли абсолютно равнодушной, вроде так и должно быть. Еще одна

странность поселилась в ней — привязанность к этому месту. Словно кто-то чужой ежеминутно напоминал ей о необходимости быть начеку, чувствовать тайную и невидимую жизнь окрестных гор, в которых было сокрыто что-то очень важное и недоступное для понимания. Были такие моменты, когда ей казалось, что она — обычный камень, каких вокруг разбросаны тысячи, часть этих угрюмых и гордых утесов, бесконечных распадков и осыпей, и что ей надо быть такой до определенного времени, до той поры, пока ее сила и все ее естество понадобятся для чего-то очень важного и ответственного. Эрмитадора с радостью понимала, что больше никуда она отсюда не уйдет, а будет всегда здесь, и этот подлунный мир станет ее вечностью, ее всепоглощающей бездной, и ради этого она готова была терпеть ставших ей в одночасье неинтересными людей, наивных и глупых, не понимающих своего истинного предназначения. Сар-мэн раздражал ее меньше всех, почему, она не понимала, а когда, выспавшись, он потащил ее в свою походную юрту, принялся целовать, шептать какие-то глупости и от нетерпения рвать на ней одежду, она, не зная зачем, повиновалась ему, а потом так вошла во вкус, что несколько раз заставила удивленного мужика повторить то, чего он так хотел от нее вначале.

— Ну, ты даешь, Эрмик! — восхищенно прошептал обессилевший атаман, засыпая сном молотобойца, вернувшегося вечером из кузницы.

Эрмитадора с удивлением отметила, что «это» осталось в ней таким же желанным, как и у той, прошлой, теперь уже далекой и не всегда понят-

ной ей Эрми. Удивительно, но близость с мужчиной, как и долгое пребывание на солнце, заряжало ее новой энергией и требовало какой-то немедленной деятельности. Прикрыв одеялом наготу атамана, она оделась, вышла из юрты, бесцельно побродив по лагерю, набрела на поленницу дров, обрадовалась и, взяв в руки топор, принялась колоть дрова.

За этим занятием и застал ее Макута-бей со своей спутницей. Бабка внимательно осмотрела странную девку, легко машущую тяжеленным колуном с неподъемными даже для мужиков пихтовыми кругляками, покачала головой в выцветшем платочке и засеменила прочь, что-то шепча себе под нос.

— Ну и чего, тетка, скажешь? — нагнал ее бей. — Взаправдашний она человек или нежить?

— Ихняя она, ихняя! Токмо не ведомо мне, в чем сгодиться ей назначено, однось я те скажу, мил человек, не перечь ты ей для своей же пользы. Ох, и недобро будет тому, кто супротив ейной воли затеет чего сотворить! А лучше бы вы, голубы мои сизые, ступали себе по домам, покедова живы и здоровы, неча вам тут мозолиться. Коль оне ее здеся поставили, то уж, видать, все и сами знают, что да как. Так где ж твой хваленый чай, племяш? — Тетка задумалась, замедлила шаг, нагнулась, сорвала какую-то былинку, повертела ее в руках и, обернувшись к Макуте, добавила: — А мот, ты и прав, для подстраховки и вам след тутать поторчать энту ночку, пока все сокроется. Вестимо, береженого бережeный бережет. Всамде-

лешно давай-ка чаю, да пойду я. Вишь, солнечко на насест мостится, мой путь-от не близок, а водица шибко там нужна...

— Не переживай, тетка, дам я тебе и человеков, и коня, все в лучшем виде исполнят. А вот и дастархан наш, — произнес разбойник, заворачивая за небольшую скалу, где на широком горном уступе, нависающем над молодой речушкой, небольшой луговиной и тем самым странным водопадом мастеровитые горцы сварганили навес со столом и широкими лавками, покрытыми коврами. Во главе стола стояло большое атаманово кресло. — Ну, располагайся, старейшая моего рода, а я пойду Сармэна кликну.

— Да не дозовешься ты его, атаман, — отозвался откуда-то сбоку Митрич, — дрыхнет он мертвецким сном. Народ сказыват, с этой рыжей натешился до полной отключки и уже с час как спит, а зазноба его, слышь, колуном беспрестанно махат.

— Да уж надивились, — расположившись на скамье напротив тетки и начисто проигнорировав кресло, кивнул бей. — Митрич, ты бы это, с чаем распорядился, да пущай ведьмам от мене гостинцев соберут, глядишь, оно, мот, когда и сгодится. И еще, подбери пару хлопцев, да чтоб посмышленее и понадежнее, с теткой пойдут. И пусть с десяток порожних бурдюков соберут, бабка им покажет, где какой водицы набрать...

— Сама наберу, в энтом помочники без надобности, — перебила родственника довольная старуха.

26.

Генерал-Наместник был весьма озадачен, ему только что доложили престраннейшую новость — в подведомственном ему и напрочь позабытом Всевидящим Оком Чулыме только что приземлился вертолет всесильного главаря опричников генералиссимуса Костоломского.

«Этого-то какие черти пригнали в наши края, и главное, в канун решающего этапа разработанной мной операции? Неспроста этакая оказия!» — перебирал тысячи различных ответов генерал, шагая по периметру своей резиденции, в которую временно превратили жилье томящегося в плену Понт-Колотийского. Воробейчиков, кадровый вояка, презирал людей песьего ведомства, без надобности не лез к ним в приятели да и руку пожимать не спешил, считая это ниже своего офицерского достоинства. А тут на тебе, самого главного людоеда черт пригнал! «Ох, неспроста этот визит, а главное, ничего хорошего сулить не может. Я и не упомню, чтобы этот людожор далее чем километра на полтора от трона отлучался, да еще так надолго». Наместник остановился у окна и принялся разглядывать неспешную жизнь сельского утра. В иные времена эта столь милая городскому сердцу идиллия привела бы подернутую черствостью генеральскую душу в подобие умиления, однако сегодня леность в природе и неспешнос в движениях людей и скотины его раздражали. «Вот из-за этого вечного непоспешания и проистекают наши извечные беды, в нем и сокрыты истоки на-

шего рабства и вечного господства над нами Костоломских и прочего сброда. И все же какого черта он сюда приперся? — повернувшись к окну спиной, продолжил невеселые думы Наместник. — Ну да ладно, появится, сам разъяснит. Однако встречать его я на крыльцо не выйду! Велика честь, пусть челядь лебезит».

Подойдя к двери, генерал громко рявкнул:

— Сатрапы! Живо организовать на веранде военсовет. Пять минут сроку! — и, довольный собой, принялся надевать полевой мундир с облегченными камуфляжными регалиями.

Ровно через обозначенное количество минут он торжественно вышел на веранду наместнического дома и поразился оперативности подчиненных. На стенах были развешаны какие-то схемы и наставления, невесть откуда взявшийся широченный стол преобразован в макетный ящик, отображающий ландшафт будущих батальных действий. Связисты завершали подсоединение полутора десятков различных телефонных аппаратов.

— Молодцы, молодцы! — принимая с серебряного блюда заиндевелую рюмку, произнес генерал. — Соколы! Командиров полков ко мне! — И захрустев малосольным огурчиком, двинул к макетному ящику.

Обиженный явным невниманием, Эдмунди Феликсович клокотал праведным опричным гневом. Так уж было заведено в их ведомстве, что всякое непочитание любого, даже самого мелкого кадастровика приравнивалось к оскорблению самого государства, попранию его интересов и требовало со-

ответствующей кары. А здесь его, самого всесильного и ужасного, на аэродроме, в который на скорую руку переоборудовали школьный стадион, встретили подчиненные и какой-то непонятный клоун-старик в допотопном мундире, запинающимся от страха голосом отрекомендовавшийся комендантом местной крепости. Хорошо хоть спесивая бестия Воробейчиков соизволил прислать свой автомобиль.

У штабного дома вовсю тарахтели движками три мощных радиостанции, у четвертой, с параболическими антеннами, матерясь, сновали военные.

«Он что, в космос собрался кого-то посылать? — с удивлением оглядывая все вокруг, подумал главный опричник, протирая круглые очки. Очки-велосипеды, как и козлоподобную бородку, значок члена Президиума Верховного Совета, часы на правой руке, мешковатые костюмы отечественного кроя и многое другое он носил исключительно из пристрастия к преемственности: как бы ни переименовывали грозное ведомство, считал Костоломский, как бы его ни реформировали, преемственность должна неукоснительно сохраняться, иначе нельзя. Только преемственность, которая, сродни круговой поруке, может удержать карающий меч суверенной демократии в праведных руках и обеспечить державе единство, а народу повиновение и умение исправно работать на свое же благо.

Военные, увлеченные своими делами, не обращали внимания на худого и длинного человека в темном комбинезоне со зловещей аббревиатурой

Кадастра, окруженного такой же, под стать ему, темной свитой. Костоломский, подавляя внутреннее негодование, не спеша поднимался по лестнице на веранду, уже забранную маскировочной сетью.

— Граждане свободы! — гаркнул над его головой Воробейчиков.

Опричник чуть было не споткнулся от неожиданной команды, которая заменила при Преемнике Четвертом старорежимное «смирно!».

Все вокруг замерло и остолбенело, даже бабы, стирающие вдалеке камуфляжные подштанники, собаки перестали брехать, а дизеля связистов затарахтели почтительнее и тише.

— Ваша Незыблемость! Член действительного тайного совета Августейшего Демократа! Вверенные мне войска готовятся к проведению секретной операции во исполнение высочайшего вердикта...

— Здравствуйте, здравствуйте, любезный Урза! Очень рад вас видеть! — протягивая руку генералу, произнес опричник. Генерал как бы по рассеянности (а что с контуженного взять?) проигнорировал рукопожатие, лихо отдал честь и хозяйским жестом пригласил высокого гостя в чертоги военной тайны. Но какая такая тайна может быть в деревне? А глядь, Глафира, вроде как беззаботно дожидавшаяся Прохора, быстро подозвала к себе дворовую девку, пошептала ей чего-то на ухо и сунула в руку записку с очередным сообщением об изменившейся в крепости обстановке. И таких посыльных в разные концы отправилось немало.

— Главной своей задачей, — вертя в руках длинную алюминиевую указку, принялся докладывать

оперативный замысел Воробейчиков, — я считаю должным образом организованную охрану и оборону определенного Августейшим объекта. Объекту для скрытого обозначения мною присвоено кодовое название «Шашня». На ближних подходах к «Шашне» сейчас активно ведется агентурная разведка. Не позднее завтрашнего дня будет предпринято полное окружение как самого объекта, так и подступов к нему. Для сего мною планируется задействовать: орудий артиллерийских — семьдесят четыре, самоходных реактивных комплексов — восемь, пулеметов — сто шестнадцать, живой силы смешанного состава — до трех с половиной тысяч, боевой аборигенной конницы — сто двадцать всадников...

— А не могли бы мы с вами куда-нибудь уединиться, любезный господин Наместник, — как бы пропуская мимо ушей доклад, мстя за отвергнутое рукопожатие, холодно произнес опричник и, не дожидаясь ответа, направился к единственной ведущей в избу двери.

Воробейчиков, зло глянув на подчиненных, засеменил следом.

В сенях царил всегдашний деревенский полумрак. Костоломский на минуту замешкался, давая привыкнуть глазам к скудости освещения.

— Позвольте на правах хозяина проводить вашу незыблемость во внутренние апартаменты, — тесня в сенях высокого гостя, произнес генерал и толкнул вторую справа дверь, за которой располагалась самая приличная во всей крепости комната — старая библиотека.

Книги были повсюду, высокие, до потолка застекленные книжные шкафы с любопытством уставились на вошедших, недоумевая, зачем в сие хранилище мудрости пожаловали эти явно не читающего вида господа. У окна стоял широкий стол с керосиновой лампой под железным крышеобразным абажуром, старинное, с резной спинкой и подлокотниками кресло. Слева, у дальней стены, примостился под книжными стеллажами невысокий кожаный диван с круглыми мягкими валиками и аккуратный, явно недавней работы книжный столик.

— Вот здесь нам никто не помешает, будьте добры, располагайтесь, где душе заблагорассудится, — обретая было утерянную инициативу, пригласил Наместник.

Однако гость не спешил последовать приглашению и принялся с любопытством разглядывать книги.

— Боже ты мой, — распахнув скрипучую створку и беря наугад первую попавшуюся книгу, удивился опричник, — да здесь сплошняком крамола! Та-а-к, А. Лебедь «За державу обидно!». — Он сунул книгу обратно и, сцепив руки за спиной, словно боясь запачкаться, принялся пристально вчитываться в названия сбежавших в далекий Чулым книжек. — «История государства Российского» Карамзина, Словарь Брокгауза и Эфрона, а далее — того хуже: Вернадский, Солженицын, Белов, Распутин, Вознесенский, Мориц, Киплинг, Белль, Шекспир, Булгаков! Ужас, ужас! — Казалось, еще немного, и он лишится сознания. Здесь, в этой не-

большой комнатенке была спрессована мировая нечисть, которую не один десяток лет каленым железом выжигают на всей планете, а особенно в нашем непреклонно демократичном отечестве.

— И кто, интересно, это все собирал? Генерал! Вы что, охренели?! Да вы вообще соображаете, что делаете?! Это же форменная измена Родине! У вас в окуеме в целости и сохранности хранятся самые опасные для свободомыслия предметы, а вы прохлаждаетесь, пьянствуете, девок по баням щемите! Да я вас! — Опричник резко крутанулся на каблуках к стоявшему позади генералу и моментально обмяк: на него в упор глядел недобрым черным зрачком ствол старого верного «кольта».

— Давай вот что, морда жандармская, прикуси свой язык, это во-первых; во-вторых, перед тобой боевой генерал, вот я тебя пристрелю сейчас как последнюю суку и спишу на естественную убыль; в-третьих, русский офицер ни хрена, окромя уставов, наставлений и порнухи, не читал, не читает и читать не будет; и наконец, в-четвертых, марать руки сжиганием книг, как и мирных жителей, я не обучен. Хочешь, сам поджигай, я вижу, на столе спички лежат, давай действуй, а я пойду пока операцию готовить, старшим в этом деле меня, а не тебя Августейший назначил. Пали, только знай, дверцу я подопру, а к окну мужиков с рогатинами приставлю.

— Погоди, вояка! — севшим от испуга голосом выдавил из себя полинявший глава опричников. — Преемник принял другое решение и назначил меня ответственным за исполнение этого щекотливого

задания, вы, генерал, поступаете в мое полное распоряжение. Да опусти ты пистолет, наконец! Он же у тебя небось заряженный?

Генерал сунул пистолет в кобуру.

— А письменный приказик можно полюбопытствовать?

— Вот, — с облегчением опускаясь на диван, произнес опричник, достав из полевой сумки конверт и расстегивая влажными пальцами тугую пуговицу ворота.

— Так, ясно, — сухо отчеканил генерал, — я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак! Так какие будут указания?

В другое время Эдмунд Чекисович не преминул бы поизмываться над старым служакой, да что там поизмываться, вмиг бы упек в Лубяные подвалы, и никакие прежние заслуги не спасли бы его от дыбы, но сейчас было не до того.

— Вы со своим потешным войском продолжаете заниматься тем же, окружаете и берете под охрану вход в тайное убежище подземных сил. Вы, кажется, упомянули об аборигенной коннице?

— Да, таковая имеется, — поникшим голосом ответил экс-главком, — до полутора сотен хороших рубак, но в обороне они малоэффективны...

— Отберите из них человек тридцать узкоглазой наружности, переоденьте в китайскую военную форму и оставьте где-нибудь в резерве. Когда я вам подам сигнал, направьте их на свои позиции, якобы для проверки бдительности, лежащим же в оцеплении пулеметчикам отдайте приказ в случае появления ханьцев открывать огонь на поражение.

После расстрела мнимых врагов снимайте войска и стягивайте их как можно ближе к водопаду, под который замаскирован вход в эту, как там у вас...?

— «Шашню»!

— Вот-вот к ней, родимой, и подтягивайтесь. Это, можно сказать, кульминацией всей войны и будет. Надеюсь, вы со своим богатым фронтовым опытом уяснили главную задачу?

— В принципе да, но...

— С этого момента никаких «но», или вы, генерал, со всем этим дерьмом, — опричник обвел рукой вокруг себя, — до конца своих дней не увидите света божьего, а в казематах будет предостаточно времени, чтобы научиться читать не только военную, но и литературу более эротического склада. А теперь идите, я отдохну с дороги, если у вас нет возражений, — потягиваясь, съехидничал глава Кадастра. — Да, генерал, небольшое уточнение: узкоглазые должны беспрепятственно пройти почти до самого водопада и в метрах ста от него напороться на ваши пулеметы. Пулеметную команду тоже подберите с умыслом, чтобы с обеих сторон не было знакомцев, а еще лучше, чтобы наши бойцы люто ненавидели китаез. Вам понятно?

— Понятно, только ведь солдат жалко. Свои своих... можно сказать...

— Можно сказать. А можно и промолчать, да и вообще об этой затее следует крепко молчать и вам, и вашим подчиненным, коих вы к исполнению привлечете, — безразличным тоном перебил его опричник, громко зевая. — Если я через час не проснусь, пришлите кого-нибудь разбудить.

Едва за ошарашенным генералом затворилась дверь, а московский гость в обуявшей его дреме еще мучился вопросом, снимать или не снимать тяжелые и непривычные для него армейские ботинки, как в библиотеку осторожно вошел встречавший Эдмунди на аэродроме старик с подушкой и тонким верблюжьим одеялом. Сапоги, чтобы не стучать каблуками, он снял еще в коридоре. Мягко ступая в высоких вязаных носках, он подошел к дивану, приподнял сановную голову и уложил ее на прохладную и пахнущую чистотой подушку, быстро и ловко стащил с гостя ботинки, укутал ноги одеялом и беззвучной тенью выскользнул вон. Неуместное чувство благодарности и восхищения своим народом колыхнулось в засыпающем мозгу чиновника, хотя ни он, ни его предки никогда не имели к народу никакого касательства.

И приснился опричнику сон.

Входит он в знакомый до оскомины трибунал и направляется к своему законному месту экзекутора, а его останавливает странного вида страж, какой-то весь плоский и благообразный, и без всяких объяснений заталкивает в клетку для подсудимых. Не успел Эдмунди Чекисович опомниться, как за ним лязгнула решетчатая дверь и сухо, как выстрел, щелкнул запирающийся замок.

Подковообразный зал Всенародного Трибунала с этой скамьи выглядел иначе, чем с его привычного кресла. Все было более приземисто, тускло, убого и отдаленно напоминало хлев; даже золоченая

вершина демократии — судейский стол, и тот смахивал на разбухший гроб. Но более всего жандарма поразила публика, собравшаяся в зале. Здесь не было ни блещущих погонами и аксельбантами военных френчей, ни шитых золотыми позументами статс-мундиров, ни кринолинов падких до страшных приговоров дам, на жестких и неудобных дубовых стульях сидели книги. Сотни, а может, тысячи разномастных, худых и толстых, старых и еще блещущих молодым глянцем томов. Они были молчаливы и суровы, на титулах неявно проступали такие же неприступные лица их авторов. В зале царила непривычная для зрелищного места тишина.

— Встать, суд идет! — возвестил судебный пристав.

За судейский стол бочком протиснулось три объемистых тома в темных мантиях с ажурными воротниками и манжетами. Когда судьи повернулись к залу и заняли свои места под высокими спинками кресел слепой Фемиды, Костоломский похолодел: от этих ждать снисхождения и поблажек было без толку. Председательствующую книгу он узнал сразу, это был «Архипелаг ГУЛАГ», справа от него прилежно листал толстющее дело увесистый том «Идиота», а вот левого судью он никак не мог припомнить, хотя и с этой книгой явно где-то сталкивался.

— Вот эти бородатые, скорее всего, Маркс с Энгельсом, а бритый — Плеханов, — почти в затылок опричнику прошептал знакомый голос.

— Да бросьте вы, с бородами — Леонардо да Винчи и Лев Толстой, а безбородый — Шикпирь... — и этот голос, возразивший первому, был ему знаком.

— Шаксьпирь — это комедиант из Литвы, — значимо поправил кто-то также знакомым до боли шепотком.

Эдмунди не выдержал и обернулся: клетка была битком набита разномастным народом. Многих он знал и только вчера с ними расстался, другие были незнакомы, но узнаваемы по картинкам, историческим хроникам и документам спецхрана. Здесь сидели, дожидаясь своей участи, почти все Преемники со своей дворней; какие-то замшелые цари и диктаторы, поэты-песенники, озадаченные детективщики и авторицы любовных романов и еще кто-то, безликий и едва уловимый.

— Процесс «Русская литература против власти» объявляю открытым!

Стук молотка больно ударил по барабанным перепонкам.

Прокурором выступал вовсе никому не известный толстенный том. Насельники клетки и так и сяк выворачивали шеи, чтобы умудриться прочитать золоченую надпись на потертом корешке.

— Пу-шкин, — шептал по слогам Владисур, просунув узкое лицо меж железных прутьев.

— Артиллерист какой-то, — попытался угадать господин из слабо знакомых.

— Да нет, там, впереди, перед этими «пушками» еще слово «ас» написано, — втаскивая голову обратно в клетку, произнес бывший главный советчик.

— Артиллерист и летчик? Разве такое бывает? — разнервничался Преемник Третий. — А где у нас министры обороны?

Все шестеро оказались в наличии. Пользуясь всеобщим замешательством, они успели отнять у министров культуры их скамейку, поставили ее между двумя своими, насажали себе на колени рублевских и провинциальных писательниц повульгарнее и самозабвенно резались в переводного дурака. Ординарцы замерли с бутылками и презервативами наизготовку.

— Да вас бы за такое наплевательское отношение к делу народа следовало к стенке поставить! — сокрушенно покачивая головой, произнес Сталин и, пыхнув трубкой, добавил: — Вон после меня все чисто, ни министров, ни культуры, зато какая литература осталась!

— Ты нас, усатый, стенкой не пугай, мы под ней по должности ходим, — смачно хлестанул картой о скамью министр Преемника номер пять. — А семерочку трефовую не изволите ли, господа?

— А мы к ней червовою-с и в перевод, — отозвался главный воинский начальник переходного периода времен Преемника Первого и Второго, коммерческого вида мужчина с плутовскими глазами. — Мы-с только под мебельной стенкой изволили ходить, других, простите, не видывали-с.

— Артиллерист тоже может быть асом, — загребая карты, высказался министр Третьего Преемника. — Это значит, классный стрелок, бог войны!

— Да Пушкин это! — визгливо выкрикнул боровоподобный чиновник со смешной фамилией, ведающий деньгами кино, обирающий нищие библиотеки и клубы, а состояние свое миллиардное сколотивший на спекуляциях музейными ценнос-

тями и продажей народного достояния в частные закордонные коллекции.

— Да-да, непременно это Алексей Самуилович, наш демоградский поэт и уроженец, — угодливо поддакнул Шустрику его подельник по музейному бизнесу Пишипропаловский, слегка кособокий мужик с вечным шарфом вокруг шеи, который, как говорят знающие люди, он отказывается снимать даже в парилке.

— Александр Сергеевич! — захотелось с возмущением поправить музейщика, но осторожный Костоломский промолчал и принялся запоминать все, что говорят окружающие, так, на всякий случай.

А тем временем родоначальник российской словесности бойко читал обвинительное заключение. Но обитателям клетки было не до него. Преемники, хоть и серенькие все как на подбор, невеликие, а тусьню меж собой затеяли приличную. Однако справедливости ради следует оговориться, что зачинщиком препирательств, как всегда, был строптивец Горби. Сегодня его уже никто толком и не помнит, разве что в глянцевых журналах мелькнет старая реклама модных сумок или пиццы, с которыми, как дурень с писаной торбой, носился бывший генеральный секретарь всевеличайшей партии. Большинству народа так и неведомо, кем когда-то был этот древний старикан, но нынешнюю свару затеял именно он:

— А вот Макса Раисовна такого бы не потерпела, чтобы отца-основателя, почетного масона шестой гильдии — и в клетку...

— Ну, ты, понимашь, заткнулся бы! — взревел сидящий рядом и, как обычно, немножко подшофе Бен. — Я вам, россияне...

— Эй, дядя, — слегка похлопал его по плечу Преемник Первый, — нету уже никаких россиян, они еще при мне стали рассасываться, так что чтить диалектику надо, наука такая когда-то была...

— Тоже мне, диалектик хренов, да кабы я, понимашь, только представить мог, что ты такие фортеля выкидывать начнешь, своими собственными руками удавил бы, паскуду! — Матерая глыбища единственного всенародно избранного устрашающе нависла над сдрейфившим восприемником.

И судьи, и прокурор, и адвокаты, и весь зал замолчали и с недоумением уставились на стенающую, колотящую и мутузящую друг друга братию.

— Хорошо хоть читатели их сейчас не видят! — произнес со вздохом третий судья, и опричник узнал его — это была «Долгая дорога домой» Василя Быкова...

— Ваша незыблемость, ваша незыблемость!

Костоломский, как механическая сова, широко распахнул глаза. Он привык так просыпаться, но дурацкий сон все никак не хотел отступать, его опять со всех сторон окружали книги.

— Да это же, черт бы ее побрал, библиотека! — удивился опричник и только сейчас заметил стоящего подле дивана старика коменданта со старинным медным кувшином и чистым полотенцем.

— Пойдемте, батюшка-барин, умываться, а там уже и к Генерал-Наместнику на обед ладиться пора.

— Ладиться, говоришь? Ну-ну! Послушай старик, а откуда у вас эта библиотека? — видя недоумение на лице вояки, Эдмунди указал рукой на окружавшие их книжные шкафы.

— А, эфто! — обрадовался Прохор, отворяя дверь в сени, — так книжицы сии испокон веку за нашей фортификацией числятся. Я последнее время за ними доглядаю, дабы кто по безграмотности на самокрутки не попер. Они-то, книжищи энти, державный, выходит, атрибут, штемпеля имеют гербовые. А многие книги ссыльные, авторы-то поперемерли, а книги, вишь, остались.

27.

Даша глянула на дорогу и обомлела. Следом за невесть откуда взявшимся военным с огромной суковатой палкой в руках крался ее Юнька. Не успела девушка испугаться, как эта дубина ухнула на голову незнакомца и тот, громко ойкнув, грохнулся со всего роста ничком на каменистую тропу.

Дашка выскочила из своего убежища, готовая быть подмогой в опасном деле. Однако помощи не понадобилось. Юнь уже проворно связывал руки и ноги бесчувственного человека своим ремнем от портков. Видно, заслышав странные звуки, из-за поворота к ним спешили Енох и Маша.

— Енох Минович! — командовал Юнь. — Мы берем этого борова — и ходу вниз, неровен час, еще

хтось притопат. Ты, Дашка, какой тряпкой его кровень с тропы сотри, да пылью присыпь, а вы, барышня, берите евонный наган, да глядите, не тискайте, он, видать, заряжен.

Пленник еще не успел очухаться, как его приволокли к атаману. Юньку лихой народ поздравлял и по-доброму подначивал, дескать, понаслало правительство топтунов и соглядаев, честному бандиту и в лес сходить с милахой нельзя, так и ягода переспеть может. Даша довольно посмеивалась, украдкой косясь на барыньку, подбирая подходящий момент, чтобы незаметно уволочь ту в укромное место и переодеть, пока никто ни о чем не догадался. «Ну и гад этот Енох, уж не мог до приличного места, ну хотя бы с кроватью, дотерпеть...»

Улучив минуту, когда все сгрудились вокруг стола, она потянула невеселую хозяйку в их с Юнькой будан.

Ничего не говоря, только молча вздыхая и иногда всхлипывая, девушки присели на бревно перед входом в новый шалаш. Щемящее чувство какой-то безвозвратной потери объединяло их в эти минуты. Общая принадлежность к горькому бабьему миру пудовой тяжестью навалилась на их хрупкие, еще по-детски угловатые плечики, было грустно, что еще одна юная душа преступила трепетную черту и бросилась в вожделенную бездну, великий океан обыденности, и никому не дано знать, какая участь ее постигнет.

Потом Даша, с опаской озираясь по сторонам, затащила все еще всхлипывающую барышню в ша-

лаш. Быстро раздела, покудахтала, поохала, повсплескивала руками, при этом аккуратно смазывая все посбитое и поцарапанное прохладным и приятно пахнувшим маслом. Потом извлекла из большого тюка Машенькины юбки и кофты, которые прошлой ночью передала старая барыня, помогла ей обрядиться, причесаться и, оставив отдыхать, помчалась к разлапистому дубу у речной луговины, вокруг которого уже собрался народ.

Макута-бей сидел на покрытом овчиной чурбане, справа на нижнем суке дуба уже болталась большая петля, слева, облокотясь на длинную рукоять допотопной секиры, истуканом стоял угрюмый бандит с густой, до самых глаз, бородой, не то палач, не то страж. Перед атаманом, склонив перевязанную голову, стоял пленник, а публика разместилась плотным полукругом позади него в самых живописных позах и внимательно слушала, при этом время от времени люди цикали друг на друга, отчего в толпе постоянно бродил легкий шепоток, мешавший слушать.

Допрашиваемый не препирался и отвечал на все вопросы с понурым безразличием. Чувствовалось, что городскому вполне хватило одного Юнькиного полена.

— Нас спешно перебросили сюда из Москвы...

— Откуда? — переспросил его Макута.

— Из Подмосковья, неделю тому назад, и дали задание сверить карты с местностью, определить, все ли дороги на месте, не поменялись ли русла ру-

чьев и рек, где остались старые мосты, а где появились новые. Мы спокойно работали группами по два человека, пока не пришли вы...

— Так мы отсюда никуды и не девались ужо годов с десять, — перебил его Сар-мэн. — Ты это, нам баки-то не забивай, геодезист хренов, чо, окромя дорог, вынюхивали?

— Фиксировали ваши передвижения и сообщали координаты командованию...

— Макута, давай его повесим, все равно кота за хвост тянет, чо с ним чикаться, он — пешка, шестерка поганая! — явно беря на испуг, строил из себя отпетого негодяя Сар-мэн.

— Вишь, мил человек, — погладив усы, вкрадчиво начал атаман, — предлагают тебя головой в ворота сунуть. Ты глянь, глянь, голуба, петелька, она по форме вроде тех ворот, откеле весь народ, токи наоборот. Вот такие шанешки с котятками. Ты поведай нам, а большое ли войско на нас идеть?

— О количестве сказать точно не могу, но мне кажется, дня через два солдат и техники здесь будет хоть отбавляй.

— Да какие там вояки! Слухай ты его больше, атаман, чо, старичье, с деревень согнанное, воевать-то будет? — перебил пленного Сар-мэн. — Давай его вешать, неча зазря время тянуть.

— Вешать так вешать, — безразлично согласился Макута и встал со своего кресла. — Вы тут особливо долго не толчитесь, — обратился он к народу, — сами слыхали, что сила на нас неимоверная переть собирается, так что на чужую смерть погла-

зейте да идите к своей готовиться. Огней не разводить, самогону не пить, кого ущучу, голову Сар-мэну отдам. Одна надея на горство наше да на Мать-Белуху... — и главарь, слегка прихрамывая, подался прочь.

— Атаман, атаман! — пытаясь вывернуться из цепких рук бандитов, что есть мочи завопил пленник: — Атаман, мне надо сказать вам что-то очень важное!

Макута продолжал не спеша удаляться, на шею извивающегося лазутчика уже накинули петлю и подыскивали подходящий чурбан, который было бы удобнее вышибить из-под его ног.

— Бей, мот, послушаешь придурка, глядишь, чо дельное и сказанет? — наклонясь к уху атамана, негромко предложил Сар-мэн.

— Успею. Чем плотнее петля на глотке, тем правдивее речи выходят, — почти не шевеля губами ответил атаман. — В смерти, как и в любви, поспешать не надобно. Однако ты пошли, на всяк случ*а*й, толкового рубаку, чтобы веревку вовремя рубануть успел.

Недолгие приготовления к казни закончились. Пленник со связанными руками и ногами был уже водружен на шаткий от неровности каменистой земли толстый чурбан и с петлей на шее старался из всех сил держать равновесие на этой последней в своей жизни тверди. Кто знает, какие мысли и чувства колотились в его мозгу в эти предсмертные минуты. Крик ужаса и мольбы уже не пролезал сквозь обхваченную веревкой глотку, глаза несчастного уставились куда-то вверх, словно он пытал-

ся рассмотреть в этой бездонной и равнодушной высоте место своего будущего пристанища.

— Мот, раздеть его, а то опосля тяжко будет с мертвяка одежу сымать, а она, однако, вишь кака справна! — предложил худощавый разбойник с рваным шрамом через все лицо, оценивающе ощупывая комбинезон обреченного.

— Побойси Бога, живодер! — возразил чернобородый бандит, оценивающе пробуя на разрыв свободный конец перекинутой через сук веревки. — Да и Макута сего ох как не любит, ты вона держи крепче бечеву да пособников кликни, а то, неровен час, выпустишь ее, али эфтот тебе тяжельче окажется и все — другим-то разом перевешивать нельзя. Эй, братки, пособите Кособокому веревку удержать!

Охотники нашлись быстро.

— Ну что, раб Божий, готов ты али нет к своей кончине? — заходя сбоку и задирая голову, спросил бородатый. — Ты не бойсь, веревка в самый раз: и не тонка, и не товста, боли и не успеешь познать. Токмо хрусь — и все. Эй, бедолага, — он несильно дернул пленного за штанину, — мот, спиртяжки али курнуть, а?

Ответа не было, сверху на палача безучастно смотрело бледное и уже отрешенное лицо.

— Ну, как знаш! Браты, я как колоду выбью, вы-т веревку на себя малешко потяните, кабы выше болезного поднять, а я после ужо сам все закреплю. Ну-т! — и он сноровисто саданул ногой по чурбану.

Обреченный, вместо того, чтобы засучить ногами и дернуться в последней конвульсии, сва-

лился на землю, встал на колени и, ничего не соображая, закрутил головой. Рядом, вкладывая в ножны казачью шашку, стоял один из Сар-мэновых телохранителей. Три разбойника, во главе с Кособоким, сидели на земле, крепко вцепившись в обрывок веревки, многочисленные зрители, придя в себя от неожиданности, принялись ржать и материться. Рубака, не обращая ни на кого внимания, пинком поставил на ноги несостоявшегося висельника, разрезал путы и, как бычка, за петлю поволок за собой.

— От паскуда, таку веревку спортил! — зло крикнул ему вслед бородатый. — И как с таким народом работать? Ну, погодь, попадешься ты ко мне!

Бледного лазутчика завели за невысокий утес и поставили на колени перед Макутой.

— Ну, чего ты мне такого поведать хотел, люб человек? — жестом отослав всех, кроме Сар-мэна, вкрадчиво спросил атаман. — Тебя т как, болезного, кличут?

— Кирилл-оглы Мефодий-джан ибн Ван Саид... полковник тайной стражи Его Демавгустейшества... личный порученец сиятельнейшего князя Костоломского... — Чувствовалось, что слова с трудом проталкивались через контуженную трахею, но пленник, превозмогая боль, спешил говорить, боясь очередной смены настроений.

— О-го! Атаман, слышь, кого к нам занесло? Так мы с тобой чуть болярина не вздернули! Да еще из тайной стражи! Чо творится, чо творится... Прям гордость обуревает. Ты гляди, бей, кого нас с тобой вытаптывать посылают! — развеселился Сар-мэн.

— Моя группа, — не обращая внимания на бандита, продолжал пленник, не отрывая своего полного надежды взгляда от лица Макуты, — была отправлена сюда с сверхсекретной миссией. Атаман, я могу говорить в присутствии этого человека? — Он скосил глаза в сторону Сар-мэна.

— Ну ты на него глянь! Вот сука! Я его, можно сказать, из петли вынул, а он! — И подручный главаря со всего маху саданул своим сапожищем бедолаге под дых. Тот захрипел и согнулся пополам.

— Уймись! Дай человеку слово сказать. Ты, болезный, поприседай, поприседай, оно дыхалку-то и восстановит, а на этого сердца не держи, уже больно он на вашего брата осерчал, и все за вашу же лютость. Ох, непостижимы пути твои, Господи! И почто Тебе цветы-то удались лучше, чем люди? Вот уже загадка так загадка. Ты, Кирилл вместе с Мефодием и Саидом, присядь, присядь на землицу. Успокойся. Более тебя никто обижать не станет, да и жисть я тебе сохраню, об ентом не грусти. Ты т, главное, говори все как есть, лжой душу не паскудя, а его, Сар-мэна-то, не боись, мот, еще и побратаетесь, кто знат? — И повернувшись к подручному, распорядился: — Скажи, пущай бедолаге воды али морсику принесут, глотку-то, вишь, слегка помяли. И все, баста треп разводить, делай что говорят. А ты, недобиток, вона садись на камушек, да веревку-то с себя сыми, а то ровно масон какой в позорном галстуке.

Макута только сейчас с любопытством принялся рассматривать пленного. «Человек как человек, — подумал он, — только сухой и жилистый,

словно из корневища выструганный, не садани его Юнька бревнышком, мот, и десяток моих архаровцев с таким-то не совладали бы. Прав Сар-мэн, такие голуби еще не залетали в наши дикие и скособоченные края. Ишь ты! Все встрепенулось в поднебесном мире с этой треклятой Шамбалкой! И надо же такому сделаться, что лазы ее секретные открылись в моей местности! Вон бабка-то говорит, что страна сия тайная простирается подо всей землей-матушкой. А напасть, вишь ты, на одного меня со товарищи! Хорошо хоть, вскорости затворятся все эти лазы, и никаким шишом туда не пробьешься, хоть все горы с места посдвигай».

Пленный зашелся тяжелым надрывным кашлем: видно, сделав слишком жадный глоток из медной кружки, он поперхнулся, и вода, попав в гортань, вызвала настоящий приступ удушья.

«Не задохся бы, — глядя, как Сар-мэн колотит по спине хватающего ртом воздух шпиона, подумал Макута. — Чудна наша жисть, только что он его сапогом охаживал, а уже, гляди ты, опекает, ровно брата. И пошто такой резкий переход к бывшему ворогу у ватажных людей есть, а у казенного войска нету? Те уж ежели затеют каку казню, так со всех живьем шкуру посдирают, а в плен захватят, не легче будет — та же казня, токи медленна, голодом да мордобоем изведут. Все ж какой-то нелюдской дух в государственных людях живет, равно как и в самой державе, токи попади им в лапы — и все, пиши пропало. Все энти байки про справедливости и гуманности законов вмиг из мозгов вылетают. Покеда ты с законом нос к носу не ссунешься, можно

еще во что-то верить, а как на своей шкуре почуешь его подлое касательство, тут уж все. Не могут быть человеками государевы люди, им не дают, а кто и как, нешто разберешь? Главное, у нас дикость така от веку, и нету тому ни конца, ни исправления».

— В лагере вашем находится лазутчик с тайной миссией, — отдышавшись, выдавил из себя пленник. — Мы были посланы Костоломским для обеспечения связи с ним и... — Беднягу опять начал бить кашель.

— Да не колоти ты его так, зашибешь! — атаман сноровисто перехватил руку подопечного, готовую в очередной раз грохнуть по содрогающейся спине.

Откашлявшись, отсморкавшись, по-детски размазывая по лицу слезы, пленник с вымученной благодарностью принял из рук Сар-мэна кружку.

— Ты тихо, махонькими глотками, а то не ровен час задохнешься. Глотка-то у тебя помята, — поучал Макута. — И кто ж таков этот лазутчик?

— Да вот этого любовница, — не поднимая лица, сдавленно ответил тот и указал кружкой на стоящего рядом Сар-мэна.

— А, сука! — взревел бандит и что есть силы саданул по ней ногой.

Кружка, блеснув на солнце донышком, улетела прочь, остатки воды обдали опешившего от неожиданности атамана. И не толкни Митрич как-то по-иезуитски Сар-мэна в спину, неизвестно, чем бы все это обернулось для только что избавившегося от петли. Подручный бея растянулся во весь свой немалый рост на земле у ног атамана, который, придавив его сапогом, нагнулся и прошипел:

— Еще раз ты откроешь пасть, где не след, порешу... Что, от бабьей сласти последние мозги через хрен вытекли? Вставай и не дури, а то велю скрутить и под стражу посадить.

— Ты уж его извиняй, — убрав со спины присмиревшего разбойника ногу, обратился к чужаку атаман. — Дела сердешные, сам должон понимать. Точно подружкуетесь, коль так колотите друг дружку.

— Пока что это он меня колотит, — осмелел пленник, с опаской глядя на поднимающегося с земли обидчика.

— А кто знат, мот, до ночи и ты его отметелить успеешь, — деланно хохотнул атаман. По всему было видно, что информация о сармэновской пассии очень его озадачила. — Говори, мил человек.

— А что здесь говорить, девка эта, вернее женщина, — поспешил исправиться лазутчик, косясь на Сар-мэна, — давний личный агент шефа, он ее на свой крючок или она его на свою закорючку подцепила, точно не знаю, однако вместе они чуть ли не с ее школьных времен. Отчаянная и верткая бестия, каких она только дел ни делала, в каких передрягах ни бывала — все как с гуся вода, а главное, она всегда выполняла то, что поручали. Одно время все опричники Объевры на ушах стояли, безуспешно ловили мужиков-диверсантов вместо миловидной девочки-студентки. С ней не всякий мужик может тягаться. Ну не гляди ты на меня зверем! — обратился он к натянутому, как струна, помощнику атамана. — Все, что я говорю, правда. Мою группу сюда забросили для обеспечения Эрмитадоре условий по проведению спецмероприятия. — Оп-

ричник замолчал, словно прикидывая, следует ли быть до конца откровенным с этими чуть было не убившими его людьми.

— Негоже на полуправду съезжать, не по-людски это, — почуяв его сомнения, подбодрил Макута. — Так что она должна сделать в Шамбалке?

— А вы откуда знаете?! — воскликнул пленник и, не дождавшись ответа, четко, по-военному выпалил: — Она должна ее взорвать!

— Что?! — вскочил со своего места атаман. — Как взорвать?! Чем? Это ж горы, здесь рви — не перервешь!

— А ей все горы рвать и не надо. Вот этот водопад и пещеру под ним в пыль пустить и все. — Он махнул рукой в ту сторону, откуда доносился усилившийся к вечеру шум падающей воды.

— Да хотя бы и эту отдельную горуху подорвать! Это же пропасть сколько всего надобно!

— Все мы ей доставили, главное — в пещеру пронести...

— И чо эт за бомбина должна быть, тоннов на пять, что ли? — подал голос Сар-мэн.

— Какие тонны, когда уже есть и килотонны и мегатонны... — пожал плечами пленник.

— Ты не умничай! — переминаясь с ноги на ногу, перебил его Макута. Топтаться атаман начинал только в минуты самого сильного напряжения или предчувствуя смертельную опасность. Как это получалось, он не знал, ноги почему-то сами начинали пританцовывать.

— А я и не думаю, мы доставили сюда два ранцевых ядерных боезаряда, если взорвать хотя бы

один — мало не покажется! Я уже не говорю о последствиях радиационного заражения местности. На десятки километров вокруг все будет фонить и сеять гибель, так что в эти края ни одна падла не сунется лет двести!

— А люди-то как?! — вскрикнул Макута, а после мотнул головой, словно устыдившись своей наивности, и зло сплюнул.

— Эх, атаман, когда решается судьба Отчизны, жизни людей в учет не берутся, наоборот, чем больше перебьют, тем светлее и долгожданнее будет победа, а главное, в памяти людей останутся боль и страх. Страх — великий управитель! Отсюда и народное: уж как-нибудь потерпим, лишь бы войны не было. Чего стоит моя или ваша жизнь, когда всему заведенному в стране миропорядку грозит разорение, тут другая целесообразность вступает в силу, и никто ей противостоять не сможет...

— Сможет! — словно придя в себя, напористо перебил его Сар-мэн. — Вот ты предпочел остаться живым, а не болтаться на суку, а ведь неробкого, видно, десятка, труса праздновать не привык, значит, осечка в военном мозгу произошла. И я, и атаман наш, и все люди окрестные молча, как бараны, на бойню не пойдут. — Бандит говорил ровно и почти вдохновенно, куда девались напускная бравада и приблатненность. — А с Эрми мы сами разберемся, прав ты в своих историях или не прав, я тебе не судья, меня ее прошлое не интересует, как и ее — мое, а и у меня оно, поверь, не сахарным было. Ты вот ответь, где эти ядерные рюкзаки и как девка могла их взорвать и живой остаться?

— Устройства находятся в одной из дальних пещер и хорошо охраняются, программу же на взрыв должен ввести специалист перед самой передачей ранцев исполнителю. Но я думаю, безопасность отхода, хоть и предусмотрена планом, чистой воды фикция. Все мои люди, а заодно и войска бравого генерала Воробейчикова, скорее всего, должны быть принесены в жертву стратегическому замыслу. И мы, и вы должны погибнуть, Гопс в первую очередь, а наши поджаренные останки послужат ярким свидетельством того, что взрыв — дело рук наших недругов. Может, в нашу честь даже объявят полуторачасовой траур со всенародным сбором пожертвований в пользу семей погибших. А так как семей будет много, а денег соберут не очень, то, как всегда, примут решение обратить их на малые госнужды...

— Смотри ты, как на тебя петля подействовала, державную спесь начисто сбила! — прервал затянувшиеся объяснения Сар-мэн. — Ты про группу свою рассказывай да про пещеру, где смерть спрятал, как Кощей яйцо...

— А ты меня не торопи! — огрызнулся пленник и поднялся с земли, но от долгого сидения ноги у него затекли и плохо слушались. — Не знаю, как на тебя петля бы подействовала, я гибнуть за чью-то прихоть не собираюсь. — Пленник принялся приводить себя в порядок, засовывать обратно вывернутые бандитами карманы, застегивать пуговицы и липучки. Его враз похудевшее и осунувшееся лицо было неподвижно, словно отлитая из плохого гипса маска, только на левой скуле едва заметно подергивалась жилка.

— Ты вот еще что, ответь, пошто Москве Шамбалка так не глянулась? Это ж надо, бомбой ядерной шарахнуть! Они-то хотя знат, что там, в энтих пещерах? — присаживаясь на свое место, спросил Макута.

— Кто их разберет, скорее всего ее открытие путало кому-то планы. Судите сами, откройся эта тайная страна всему миру, может ведь черт-те что приключиться. Где гарантии, что явившиеся учителя станут наставлять народ по-правильному, да и что за знания они из своих подземелий выволокут? Никто не знает. Нет, решение руководство приняло верное, только... — говоривший замолчал на полуслове.

К ним быстрой походкой подошел невысокий коренастый разбойник с лицом, поклеванным оспой. Он слегка поклонился бею и что-то быстро зашептал на ухо Мэну.

— Атаман, надо бы покалякать, — выслушав доклад и отослав молодца восвояси, произнес тот.

— Ладно. Тебя, мил человек, отведут к моему намету, доктор пусть пока шею поглядит, а там и мы подойдем, тогда и договорим.

Макута с Сар-мэном неспешно двинулись в сторону гор. За ними тенью подался Митрич. Пленного повели к ожившему бездымными и еще не слишком яркими кострами биваку. К лагерю потянулись и стоявшие на дальних постах охранники.

День неспешно сгущался в синеватую вечернюю дымку. Скоро все стихло на месте допроса, и только далеко отлетевшая медная кружка, зарывшись в небольшой островок непримятой травы, ярко свидетельствовала о недавнем присутствии людей.

Минут через пятнадцать из-за невысокой, поросшей густым кустарникам скалы, что возвышалась над камнем, где сидел атаман, осторожно вышел человек, огляделся и, убедившись, что поблизости никого нет, не спеша и не прячась зашагал к лагерю. Это был Енох.

28.

Машеньку знобило. От перевозбуждения, излишка солнца, горного воздуха, купаний в студеных ручьях и всего остального, что с ней сегодня произошло, она была близка к обмороку и никак не могла совладать с предательской дрожью, мелко и противно колотившей все тело. Укутавшись теплым ватным одеялом, она в изнеможении лежала на невысоком топчане, и мысли бешено скакали в ее голове. Едва она останавливалась на самом важном — Енохе и их будущем, как тут же возникала противная мысль о позоре и предстоящем объяснении с матерью. Едва принималась нанизывать нужные и правильные, как ей казалась, слова оправдания, подбирать интонацию, с которой их следует произнести, и даже что-то начинало получаться, как откуда-то выворачивалась мыслишка о том, что она голодна, а паршивка Дашка убежала с Юнькой глядеть, как будут вешать пойманного ими лазутчика. Есть хотелось очень, уже сама мысль о чем-нибудь вкусненьком наполняла рот тягучей слюной. Маша гнала прочь кулинарные мечтания, но образ любимого курника сменялся

образом не менее вкусного ломтя черного хлеба и домашней колбасы. Наконец в голове осталась только одна мысль, которая, словно тяжелая августовская муха, колотилась в ее предобморочном мозгу: надо вставать, выбираться из этой халупы, идти искать хоть какую-нибудь еду, благо вкусные запахи вперемешку с горьковатым дымом плавали окрест. Однако выйти вот так, без сопровождения, без проверенного человека рядом в чуждый, незнакомый и оттого пугающий мир было страшно. Ненавидя свою беспомощность, девушка решительно сбросила одеяло и овчины, в которых пряталась от озноба, и резко встала, так что у нее потемнело в глазах. Немного переждав и безуспешно поискав глазами зеркало, она принялась выворачивать на пол содержимое большого баула, привезенного ночью Юнькой от матери. Почти на самом дне, завернутое в ее толстый теплый свитер, лежало старое овальное зеркало на толстой фанерной подложке. Если бы еще вчера ей кто сказал, что находка этого потемневшего и обшарпанного амальгированного стекла вызовет у нее такую радость, она бы от души посмеялась. Но ныне ей было не до смеха. Как простушка, она бросилась пристраивать свою находку на шатком столике, приютившемся в самом темном углу. Зажгла стоявшую здесь же керосиновую лампу, хотя на дворе еще был вечер, правда серый и тусклый, потом чуть прибавила фитиль и заглянула в посветлевшую седую бездну. Из зеркала на нее глянуло вполне симпатичное лицо, правда, немного помятое, с глазами, припухшими от слез, и безнадежно спутанными волосами.

— Могло быть и хуже, — повертев головой, сказала Маша и, зажмурившись, безжалостно запустила гребень (и откуда его только выкопали!) в свои космы.

Неприятная процедура расчесывания в конец запутанных волос уже подходила к концу, лицо постепенно стало разглаживаться, блестящие же, должно быть от голода, глаза и вовсе были очень даже хороши.

— Маша, ты здесь? — почти над ухом прозвучал голос Еноха. — Маша...

Внутри все сжалось. Обыденная, привычная процедура перед зеркалом немного успокоила ее, даже дурацкие мысли о еде ослабли. Кто может объяснить, почему так происходит: погладит мама по голове, и все горести забываются, обиды проходят; скользит расческа по ровному, длящемуся до бесконечности волосу сверху вниз, сверху вниз — и убаюкивающее спокойствие наполняет душу, понятной становится женская доля, и многое, многое забывается, и мир становится добрее... И вот его голос, тихий, какой-то пришибленный, не похожий на самого себя. Голос ее любимого, родного человека. Голос, как вспышка яркого света, разбудил все, что только что успокоилось, затихло...

— Маша, ответь, — уже настойчивее и громче позвал Енох.

— Да, здесь я, здесь! — неожиданно громко и торопливо отозвалась Маша и, бросив на топчан расческу, принялась торопливо собирать разбросанные вещи.

Брезентовый полог будана шевельнулся, и в небольшой проем почему-то спиной вперед протис-

нулся Енох. Даже в подслеповатом свете керосинки было заметно, что он взволнован.

— Как хорошо, что ты здесь! Брось эти тряпки и слушай меня внимательно! — Он чуть ли не силком усадил ее на кровать. Замер, прислушиваясь настороженно и зло, словно угодивший в западню зверь. — Только не перебивай меня и ни о чем не расспрашивай. Мы должны сегодня же ночью, а лучше прямо сейчас бежать подальше от этого места! — зашептал Енох ей в самое ухо. Говорил он быстро, захлебываясь своими же словами, и каким-то недобрым был этот шепот. Маше даже сделалось немного страшно.

— Хорошо, — ничего не понимая, согласилась она, — только Дашку надо найти да хоть пару бутербродов раздобыть, а то я просто умираю с голоду. И потом, — приходя в себя от неожиданного натиска, попыталась она возразить, — к чему такая спешка? Мы же решили с тобой не торопить события...

— Маша, — раздраженно дернул подбородком Енох, — я тебе потом все расскажу. А пока ты должна просто меня слушаться, ясно? Дашку твою, дуру, искать не надо, мы уйдем вдвоем, незаметно...

— Без Даши я никуда не пойду! — вспылила девушка и обсолютно трезво добавила: — Достаточно за последние дни я наделала глупостей. И вообще я есть хочу. Пойдем что-нибудь съедим, найдем ребят, тогда и решим, что делать дальше.

— Каких ребят?! — силой удерживая ее на топчане, зло прохрипел мужчина, на глазах становясь абсолютно чужим. — Ты должна понять, это очень важно и касается нашей с тобой жизни. Я надеюсь,

у тебя нет желания погибнуть в юном возрасте? Если нет, слушай меня и выполняй все, что я скажу. Это действительно слишком серьезно, поверь. Поесть, ладно, сходим, столовая почти рядом, — вдруг миролюбиво обнимая ее за плечи, как можно нежнее и спокойнее произнес Енох. — Я и сам голоден, как стая волков в зимнем лесу.

Столовая действительно оказалась поблизости, ни о чем не справшивая, их усадили за атаманский стол и сытно накормили. Ели молча и торопливо, как едят очень голодные люди, стараясь затолкать в себя все, что видят глаза. Однако еды впрок, как известно, не бывает. Настоящее, отвальное насыщение догнало только за чаем. Обжигаясь вкусным таежным напитком, Маша почувствовала, как к ней подкатывается сон, казалось, еще немножко и, уткнувшись в плечо сидящего рядом Еноха, она в него провалится, а потому, собрав в кулак остатки разбегающейся воли, как бы между прочим Маша негромко произнесла:

— Любимый, давай допьем чай и немножко прогуляемся! Я тебя послушаю, а ты мне все расскажешь. Только все-все, так будет лучше. Я не умею слушаться беспрекословно, как покорная овечка, хотя, может, когда-нибудь я к этому и привыкну. Ты согласен?

— Хорошо, только надо спешить, понимаешь, спешить! — хотя он и произнес эти слова, едва шевеля губами, Маша чувствовала, какими неимоверными усилиями ему удавалось сдерживать себя.

«Что же такое могло приключиться за те полтора-два часа, пока я валялась в ознобе?» — Девушка

исподволь наблюдала за своим избранником. Да его как будто подменили, напряженный весь, дерганый, все время прислушивается, даже лицо стало каким-то некрасивым, злым, что ли! Самое неприятное, она чувствовала, что его состояние передается и ей, рождая в голове рой различных догадок, предположений и неосознанных страхов. Ей казалось, что предстоящее бегство как-то связанно с тем, что произошло сегодня между ними. «Дура ты набитая, твои подружки давно уже все поголовно, без колебаний и душевных мук, расстались с невинностью и думать о том забыли. А ты, как пещерная баба, все боишься, как бы племя не узнало о твоем позоре. И потом, какой тут позор? Все женщины через это проходят, доля у нас такая! И кого стыдиться? Мамы? Так она, надо думать, со свету за это не сживет. Главное — вот он, рядом, мой первый мужчина, взрослый, сильный и все умеющий устраивать в жизни. Мы любим друг друга, мы счастливы, что еще надо?» — и чем больше она думала об этом, тем ярче всплывали в памяти картинки их ненасытности и сильнее разливалась в ней обжигающая лава желания.

Поблагодарив заботливых поварих, они по откосу направились к ручью. Серые, подслеповатые сумерки готовы были юркнуть в распадок и затаиться там до раннего рассвета, уступив свое место надменной в своем всесилии ночи. Они шли, соприкасаясь плечами, и отчетливо ощущали обоюдное желание. Когда же наконец скрылись из глаз и дошли до скачущей по камням воды, Енох крепко, властно притянул к себе девушку и стал целовать ее губы. Земля поплы-

ла у них из-под ног, еще несколько мгновений — и тела готовы были вновь сплестись в замысловатом и вечном движении. Машины пальцы уже торопливо расстегивали его рубаху, ей хотелось поскорее уткнуться в заросшую жестковатыми волосками грудь, вдохнуть его запах, зовущий и терпкий, ставший таким близким и родным.

— Ах ты маленькая моя... я... мы... ты всегда будешь со мной... — задыхаясь и путаясь в словах, прошипел Енох, а руки его, сильные и опытные, требовательно скользили по ее телу. Все произошло быстро и необычно. У нее совсем не было опыта, и скажи ей кто-нибудь раньше, что этим можно заниматься чуть ли не стоя и не снимая с себя одежды, она бы не поверила, а теперь, отдышавшись, нашла такую близость оригинальной и в чем-то даже забавной.

— На такой побег я готова и без Дашки, — приводя себя в порядок, смущенно сказала Маша. — Ох, я когда-нибудь умру от всего этого...

— Не умрешь, от этого еще никто не умер! — усмехнулся Енох. — Мы будем жить долго и счастливо, но только если сейчас же отсюда уберемся! — Последние слова он произнес жестко и категорично. — Бежать надо прямо сейчас, не заходя в лагерь, и главное — ни с кем не прощаясь. Только бы поздно не было...

— Перестань меня пугать, — попыталась обидеться Маша. — Куда нам бежать? Через пару дней и так отпустят, соблюдя все их дурацкие ритуалы. Я к мамочке с покаянием, ты — на высокое служение с крестом на груди. Объясни мне, зачем бежать?

— Понимаешь, — с неохотой начал Енох, — я случайно стал свидетелем одного разговора. Повешенного привели допрашивать к бею...

— Какого еще повешенного?..

— Лазутчика, которого мы с Юнькой и Дашкой в лагерь приволокли. В итоге его не повесили, но в петле дали немножко повисеть, думаю, для острастки. Спасая жизнь, он и выложил все атаману. Гопс, оказывается, не проститутка, а опытная деверсантка...

— Как?! Эрми?! Быть того не может!

— Еще как может! Позже я все расскажу в подробностях, а пока главное: завтра утром или днем начнется операция по уничтожению лагеря и, насколько я понял, входа в эту подземную берлогу. — Енох махнул рукой в сторону шумящего в темноте водопада. Потом, понизив голос, добавил: — А взорвать все это планируется ядерной бомбой!

— А люди это знают? Какой ужас! Здесь не бежать, а кричать над... — Тут широкая потная ладонь закрыла ей рот.

— Молчи, глупая! Какое «кричать», надо бежать подальше, пока целы! Бежать к своим, забрать твою матушку — и в Объевру, от всех этих безумств и варварства. Питекантропы, чтобы остаться у власти, готовы взорвать атомную бомбу на своей территории, погубить тысячи людей...

Маша отчаянно мотала головой, пытаясь освободиться, воздуха не хватало. Широкая ладонь Еноха плотно закрыла ей не только рот, но и ноздри. Перед глазами даже закружились мелкие светящиеся точки, а его голос становился все глуше, еще немного — и сознание могло покинуть ее. «Он ме-

ня сейчас убьет...» — проплыла в мозгу мысль, медленная и ленивая, как рыба.

Почувствовав неладное, Енох раздраженно убрал руку, девушка судорожно втянула в себя спасительный воздух и зашлась громким кашлем. Из глаз брызнули слезы.

— Ду...ду...рак! Чть не задушил...

Сверху, со стороны лагеря, вспыхнул яркий фонарь, и свет осторожно заскользил по прибрежным кустам. Енох проворно сгреб еще не пришедшую в себя Машу и силой уложил за большой камень, примостившись рядом. Белый круг медленно скользнул над их головами и проплыл дальше.

— Ну все-все... Прости, прости... пожалуста! — торопливо целуя ее соленые от слез глаза и щеки, зачастил он. — Ты обязана меня слушать, я знаю, что и как надо делать. Когда все начнется, разбираться не будут, кто ты и что ты! Всех превратят в пыль. А так у нас есть еще возможность, главное — добраться до Генерал-Наместника и предупредить его. Я знаю, что ты думаешь обо мне! Ну и пусть! Может, ты и права, только я не бог и не собираюсь ценой своей жизни спасать мир. Пойми, они обречены, а у нас есть еще шанс вырваться из западни. Верь мне, у меня есть все для нашего счастья, все! Не будет титула и креста — это, конечно, плохо, зато жизнь спасем. — Он перевел дыхание и замолчал, прислушиваясь. Стрекотали кузнечики, да билась о камни вода. — Чуть-чуть посидим, пусть в лагере все успокоится, и потихоньку уйдем, ясно?

Маша сидела на мелкой сухой гальке, шмыгала носом и чувствовала, что все ее существо отчаянно

протестует против этого плана, что ее настораживают и отталкивают слова возлюбленного. Его забота об их совместном будущем превращалась в ее глазах во что-то шкурное, мелкое, построенное на слезах и смерти других людей.

«Да как же с этим жить? Дашка сгорит заживо... А как же Макута, а все остальные, и не только разбойники, а те, кто живет в горных селах и аулах? За что? Надо немедленно что-то делать!»

Она выглянула из-за камня, в лагере уже гасили костры и керосинки. Еще немножко — и все уснут, уснут последним сном.

— Енох, милый! Я никуда отсюда не пойду и тебя не пущу. Ты не знаешь окрестных гор, не веришь в древних духов, их стерегущих. Ты просто не дойдешь, заплутаешь, собьешься с тропы, угодишь в пропасть или, того хуже, к ханьцам в лапы, а это будет пострашнее, чем помереть здесь от бомбы...

Еноха трясло мелкой дрожью.

— У меня есть компас, карта, оружие и Юнькин жеребец, отпустим поводья, он сам нас куда надо приведет.

— Эх ты, городская голова! — забыв прошлую обиду, вздохнула девушка. — Взрослый, а деревенских знаний кот наплакал. Не пойдет конь без хозяина никуда. Ты на него сядь, попробуй! Домой, к маменьке, лошадь только тогда сама потянется, когда почует правильную дорогу. А где ты ее, правильную, ночью, да что ночью, даже днем, в этих горах найдешь? Выбрось глупую затею из головы! Но не это главное, надо что-то придумать, чтобы

людей спасти! Ты же умный у меня, пойдем к Макуте, посоветуемся, что-нибудь и придумаем...

— Да наверняка твой Макута со своими подручными и тем лазутчиком давно деру дали! — со злостью отмахнулся Енох. — Если б они что-то собирались предпринять, давно бы уже народ подняли, а так посмотри: кругом тишина и благодать, как на кладбище.

Тишина действительно была безмятежной. Над головами тихо мигали крупные горные звезды. Казалось, все вокруг вечно и блаженно в этом подлунном мире, и нет нигде ни слез, ни горя, ни смерти. Наверное, когда-то так и было, пока не появился под этим вечным небом человек. Ну почему, Господи, у Тебя эти горы, ручьи, цветы и птицы получились лучше и совершеннее, чем венец творения? Ответь, Господи! Но немы уста Бога, и только два божьх подобия с колотящимися от неизвестности и страха сердцами сиротливо прятались за камнем на берегу горного и пока еще безымянного ручья. Там, намного ниже, слившись с десятком своих братьев и сестер и вобрав в себя их силу, он глухо забурлит на перекатах нелюдимым и великим именем Чулым. Чем-то вечным, как это небо и горы, веяло от этого слова, далеко в веках потерялся его истинный смысл. Миллионы людей со своими богами и безбожием приходили на его берега, чтобы убивать друг друга, рожать детей, смеяться, петь свои песни и снова убивать! Зачем и почему? Молчало небо, наивно, как миллионы глаз, мигали звезды, еле слышно журчал еще бессильный Чулым, а не-

зримая пропасть, как рваная трещина, уже разделила еще недавно любящие сердца.

— Ну как знаешь! Убеждать тебя у меня нет времени.

Еноха трясло все сильнее. Чувствовалось, что он на грани нервного срыва, Маше опять стало немного страшно, и она слегка отстранилась от буквально на глазах меняющегося в лице возлюбленного.

— То, что ты несешь — чистой воды безумие! — в бешенстве выкрикнул он. — Я просто удивляюсь, откуда это в тебе! Ты же дворянка! Кого ты собираешься спасать? Этот сброд, этих ничтожеств, которые, как покорная скотина, раз в четыре года плетутся на приемные пункты избирать готовых в любую минуту ими поступиться Преемничков? Да покажи ты им портреты всех восьми, никто из них и не узнает, кто который. Быдло оно и есть быдло, ясно тебе? И страна эта проклята, проклята! Может, с ней действительно так и надо, бомбу на голову и конец! Я предлагаю тебе в по-след-ний раз! — Енох судорожно сглотнул слюну. — Пошли со мной, силой тебя вести я не собираюсь, да и на черта мне такая жена, которая упирается, как ослица, и готова предать любимого, променять его и свою жизнь на милосердие к каким-то бандитам и подонкам!!! Пошли!

Маша сжалась в комок, безудержные рыдания, нелепые и бессильные, словно мычание теленка, гасли в бормотании близкой воды. Теперь ей стало по-настоящему страшно.

— Пошли, я сказал! — истерично взвизгнул Енох и больно дернул ее за руку. — Да ты просто дура! Ведь я же тебя здесь все равно не оставлю! — Он

злобно оскалился и еще больнее сжал Машину руку. — Ты ведь очертя голову побежишь к своим портяночникам все рассказывать, евразийка поганая! Как я сразу не додумался, что ты с твоей теткой из этой безумной породы! — Совсем рядом с Машей, в темноте, топталось и подпрыгивало на месте совершенно незнакомое ей злобное существо, выплескивая на бедную, доверившуюся ему девушку потоки скверны. — Хочешь быть героиней, мученицей, спасительницей?! Нет уж, гадина! Никому ты не достанешься! Я у тебя первый был, я и последний! Слышишь, сука, слышишь?! — и тяжелая рука с зажатым в ней камнем опустилась на ее голову. — Лю-блю! Лю-блю! — утробно, по-звериному хрипел Енох, нанося все новые удары.

Наконец камень, не найдя головы жертвы на привычном месте, громко ударился о скалу и высек маленькие красноватые искорки.

Он отбросил камень в сторону и прислушался. Вокруг все так же мирно стрекотала луговая мелочь да перекатывалась вода. В груди лихорадочно колотилось сердце.

Маша не дышала, он нашарил в темноте ее руку и попытался нащупать на запястье бьющуюся жилку жизни. Рука была еще теплой, но пульс не прощупывался. Поразительно, он даже не испугался, все произошло как-то слишком быстро, само собой. Он и не думал ее убивать, да и как убить, когда он ее любил, любил! Но когда вдруг как-то дико, по-звериному он осознал, что она с ним никуда не пойдет, что-то лязгнуло у него внутри, какой-то невидимый засовчик, отворилась потайная дверца, и

оттуда вылезло незнакомое дикое существо, которое завладело им, принялось управлять и командовать. Она *не будет* ему принадлежать. Еноху представилось, как это красивое юное тело сладострастно изгибается в грязных лапах какого-нибудь холопа. Она улыбается такой милой знакомой улыбкой... кому-то другому, совсем не ему. Увесистый камень сам собой лег в руку. А дальше словно черная молния сверкнула в голове.

И вот все, все кончено, он спокоен, только по-дурацки колотится сердце, да слезы обиды и жалости к себе душат его. Впервые в жизни ему так не повезло.

Вымыв в ручье руки и ополоснув лицо, Енох Минович осторожно двинулся в свое, как ему казалось, вполне предсказуемое будущее.

29.

Минула ночь, полная бессонницы и ожиданий. Допотопный комендант благоухающим самоваром возвестил о приходе нового дня. Отчаевничали. Генерал с головой ушел в последние приготовления к войне. Костоломский нервничал. А как тут не нервничать, когда Гопс уже в третий раз не вышла на связь. Молчал и передатчик старшего группы, которую снарядили ей в помощь. Команда со спецконтейнерами дожидалась в условленном месте, тоже нервничала и посылала короткие сообщения. Драгоценное время уходило, дело гусударственной важности оказалось на грани срыва, да и оставаться в этой чулымской дыре становилось все опаснее. По-

сле стычки с Воробейчиковым, нелепой, надо сказать, стычки, главный опричник державы чувствовал себя не в своей тарелке, да и как могла себя чувствовать ядовитая змея в армейском муравейнике?

Так уж устроена властная реальность, что всесилию руководителей державы, которым, кажется, повинуются даже звезды, всегда сопутствует страх перед подданными. Властелин обречен бояться своего народа, и возможно, от этого страха и заводятся в его душе неведомые науке бациллы, обращающие недавно сильного и волевого мужика в капризное жалкое существо. И что поразительно — страх этот заразен, он незаметно передается от чина к чину, от стола к столу, от министерства к министерству, от губернии к губернии, и так до самого что ни на есть властного низа. Получается, что пуще всего власть боится не внешних врагов, а собственного народа. Но если страх разъедает душу, о каких любви и уважении может идти речь? Так и живут власть и подданные, одна — боясь и ненавидя, другие — презирая и своевольничая. Вы когда-нибудь слышали, чтобы народ хвалил власть, не по разнарядке, не со страха, а от чистого сердца? Не слышал такого и Костоломский. Он сидел, насупившись, на комендантской веранде и тупо, невидяще смотрел на последние приготовления гарнизона, готовившегося к ведению боевых действий в окрестных горах.

«Как же этой бестолочи Воробейчикову объяснить, что с войной лучше повременить? — размышлял главный опричник. — Нельзя лезть в горы без доклада моей группы о готовности. Все-таки Гопс — сука! Это она мне мстит за что-то, жилы тянет! Ну

погоди, сволочь! А что годить, что годить? Может, она до всего сама доперла и смылась? Лежит себе, лярва, у теплого моря, жопу греет! А если и того горше — сдала и задание, и боезаряды, и группу поддержки бандюкам и сейчас придумывает, как из всего этого сухой вывернуться. На это она мастерица...»

— Ваша Беспощадность! — прервал его невеселые раздумья Воробейчиков. — Вверенные мне войска подготовлены к ускоренному маршу и начали скрытное выдвижение в заданный район.

Опричник уставился на бравого вояку, затянутого в портупею и обвешанного полевыми необходимостями, как новогодняя елка.

— Как приведены в движение?! — вскрикнул московский начальник, вскакивая. — Кто разрешил?! Генерал, вы, вы... — Опричник закипел неподдельным гневом, инстинктивно одергивая полы несуществующего пиджака. Со стороны это выглядело забавно: полнеющая фигура, затянутая в черный спецназовский комбинезон, и так-то делала его похожим на большого стареющего пингвина, а непроизвольные движения рук на уровне бедер до комичности дополняли это сходство.

— Я уже без малого сорок лет генерал! — отчеканил командующий и достал из большой планшетки несколько отпечатанных на компьютере листов. На первом листе в правом верхнем углу под словом «утверждаю» красовалась размашистая и не лишенная изящества подпись главного опричника. — Согласно вами утвержденному плану боевых действий. Вот пункт номер шесть: «Начало скрытного выдвижения в заданные районы сосредоточения»,

время: тринадцать тридцать. Сейчас тринадцать сорок, — глянув на свои видавшие виды часы, пояснил генерал и спрятал бумаги. — Так что войска уже более десяти минут движутся!

— Генерал! — почти взревел опричник. И неизвестно, чем бы завершилась эта сцена, не влети на веранду один из помощников Костоломского.

— Чекис Феликсович! — пренебрегая субординацией, заорал он. — Есть связь! Операция в стадии «клоуз до»!

Прилив радости был такой силы, что Костоломский обнял генерала и смачно поцеловал в губы.

— Так говорите, генерал, войска на скрытном марше?

— Так точно! — брезгливо вытираясь, ответил ничего не понимающий Наместник.

— А если марш скрытный, почему они песни орут?

— Да как же без песни-то на войне? Без нее никак нельзя! И потом, гражданское население должно знать, что есть у него защита от супостата. Когда скрытность понадобится, там они замолчат, там боевой устав действовать начнет, а пока строевой в силе, пусть поют. Может, кто-то в последний раз песней душу радует! — с грустью закончил генерал. — Так я пойду? Дел еще много.

— Да, конечно, ступайте, командуйте, к вечеру буду у вас. — Дождавшись, пока военный спустится с крыльца, сядет в дожидавшуюся машину и покатит вдогонку своим войскам, опричник вопросительно поднял брови на подчиненного.

— Все по плану, заряды переданы Гопс, оператор и старший группы под видом дезертиров внедрены

в банду. К вечеру полная готовность. В семь тридцать завтрашнего утра время «Ч».

— Ну и чудненько, ну и ладненько! — подражая Августейшему, Костоломский засновал по веранде, потирая руки. — Евлампий Гансович! Ты лично отвечаешь за китайскую конницу. Инструктируй до одури. Человек трех из наших обряди в их дурацкие халаты. — Опричник театрально вздохнул. — Великие дела всегда требуют больших жертв. Мы с тобой вылетаем ровно в три ночи. Вертолет перегнать вечером за гору, чтобы крепостных собак не пугать спозаранку. Да, и еще, — понизив голос, он, озираясь, добавил: — Хибару эту вели нашим местным товарищам в шесть тридцать поджечь. Развели, понимаешь, гадюшник, чтецы хреновы! Я им покажу вольницу! Да, чуть не забыл: активисток из молодежного крыла «Гражданского согласия» нашел?

— К сожалению, нет... — тихим извиняющимся голосом произнес Гансыч. — Все поголовно мобилизованы Воробейчиковым для военных нужд. Иных же молодиц местные бабы не выдают и от моих людей прячут.

— Дикари! Никогда к ним цивилизация не привьется!

30.

Минувшая ночь в лагере Макуты прошла неспокойно. Сначала весь вечер бились с Эрмитадорой. Девка держалась дикой кошкой, вместо ответов осыпала допрашивавших гневными искрами из

глаз, супилась и молчала. Сар-мэн пробовал и с лаской, и со строгостью — без толку. Попытались было, отослав ухажера, приструнить девку плеткой — куда там, так крутогнулась, что сыромятная кожа в лоскутики распустилась, рукоять — в щепу, а разбойника, поднявшего на нее руку, словно куклу тряпичную, выбросила из куреня вон, тот, правда, цел остался, только помялся малость. Дивились все, а сделать ничего не могли, иной какой-то стала атаманова невеста. Макута приказал оставить ее в покое, но глаз не спускать. Потом они еще долго шептались с Сар-мэном и недоповешенным опричником, а ближе к полуночи прибежала служанка и, рыдая, сообщила, что пропала ее молодая хозяйка. Когда Даша, размазывая по лицу слезы, рассказывала атаману о бесценной пропаже, ему как раз доложили, что купно пропал и московский наместник. У Макуты как камень с сердца упал: «Коли вдвоем пропали, далече не уйдут, где-нибудь в густой травемураве под кустами залягут. Дело-то молодое, пущай тешатся, мот, к Званской в сваты попаду».

Слушая Дашку, Гопс сидела смирно в углу и, не мигая, глядела на бездымный костерок, неспешно колыхавшийся за невысокой каменной оградкой посреди атаманова жилища. И вдруг девку будто что-то толкнуло. Вскринув коротко и тревожно, словно ночная птица, она буквально вылетела из куреня и растворилась в непроглядной тьме.

— Чего она крикнула-то? — рассеянно спросил Макута, продолжая думать о чем-то своем.

— Кажись, имя чье-то помянула, — отозвался вездесущий Митрич. — Не то Таша, не то Маша.

Чудн*о* другое, атаман, она ведь вылетела отсюда...

— Как это вылетела? — все так же вяло, боясь испугать теплящуюся внутри мысль, отозвался бей.

— Вестимо как, по воздуху. Как это ей удалось, ума не приложу. Вроде и бежала, а землицы-то не касалась! Я сбоку глядел, мне виднее было, сантиметров на десять от земли ноги топотали...

Не успели они это обсудить, как снаружи послышались крики и бабий вой. Полог шатнулся в сторону, и в помещение вошла Эрмитадора с Машей на руках. Безжизненное тело прогнулось, окровавленная голова моталась из стороны в сторону. Гопс остановилась в растерянности, не зная, что делать.

— Клади на стол! — распорядился Макута, одним махом сметая на пол все, что громоздилось на сколоченном из плохо оструганных досок щите, закрепленном на козлах с длинной продольной слегой-стяжкой. — Быстро всех докторов сюда!

— Бей, я уже здесь, — пробиваясь сквозь толпу у входа, отозвался доктор Брумен-джан. — Света бы побольше!

Митрич затеплил два керосиновых фонаря с большими лупатыми отражателями на боку.

— Еще жива! — словно самой себе сказала Гопс, подняла с пола небольшую подушку из тех, что по-восточному клали на атаманово кресло, и подложила ее под голову несчастной.

— Ударил ее кто-то по голове, — осматривая раны, пояснял доктор. — Кости черепа вроде целы, может, где треснули, а так целы. Раза три ее крепко

ударили, она руками закрылась, и оставшееся изуверство пришлось на тыльную сторону левой кисти. Видите, как ее нелюдь подробил. С рукой-то, боюсь, будут проблемы, хоть бы вообще ее сохранить удалось.

Действительно, легкая, тонкая, с длинными, как у пианистки, пальцами кисть была размозжена и представляла кровавое месиво из обнаженного мяса и поломанных костей.

— Атаман, мне нужно много горячей воды, чистых простыней и отсутствия в операционной посторонних, включая тебя!

Бывают такие моменты, когда начальство (к опричникам это не относится), каким бы оно ни было, вынуждено подчиниться и выполнять распоряжения тех, чье дело в этот момент важнее всего. Из импровизированной больницы вышли все, кроме Эрмитадоры, которую, кстати, никто и не думал выгонять.

Народ лесной гудел в праведном гневе, у ручья и водопада люди с фонарями и факелами искали несчастного Еноха. Все были уверены, что и его постигла та же участь. Барыне Званской решили до утра пока ничего не сообщать.

Ночные хлопоты чуть было не нарушили Макутины планы. Никто не должен был видеть, как снимаются его разбойники с только что обустроенных гнезд и лежбищ. Снимаются тайно, на их место ставятся обряженные в старье соломенные куклы, благо их в атамановом обозе всегда имелось с избытком. Разбойник он ведь всегда не числом и силой побеждал, а хитростью, обманом да наглостью.

Люди, которые менялись местами с куклами, уходили, минуя лагерь, в дальний схрон, так что все внизу оставались уверены, что засадчики на своих местах и бдительно охраняют тайный вход под водопадом. Про вход в Шамбалу знали все и тем несказанно гордились, многие даже с пеной у рта уверяли собеседников, что после победы над казенным войском Макута всех допустит в это великое царство блаженства и радости, и каждый сможет попросить там то, что ему, по его разумению, надобно для полного счастья. Только, говорили всезнающие старухи, нельзя денег просить и другой какой здешней мелочи, до которой так охоч весь наш земной мир.

— Ну что, племяш? — постучав по плечу клюкой, позвала откуда-то из темноты старуха. Макута вздрогнул от неожиданности. Он и думать забыл про родственницу, полагая, что она давным-давно пустилась в обратный путь со своей чудодейственной водой. — Да не пугайся, это я, старая бабка твоя. Спасибо за помощь, милок, доброе дело помог сотворить и мне, и Миру Света. Чуется наша порода, Макутин корень, а молодцов твоих сразу отпущу, ты за них головной боли не держи, только скажи, куда их отправить. — Старуха замолчала, казалось, раздумывала — сообщить что-то важное родичу или промолчать. Атаман напрягся, словно зверь в засаде.

— Одно тебе напоследок скажу, — со вздохом решилась сродственница, — ты девку эту рыжу особо не задирай и своим головорезам не дозволяй. Пло-

хо мот кончиться. Сдается мне, Стражем ее обернули, коли после смерти в свет белый выпустили.

— Каким еще стражем? — насторожился племянник. Он всегда сторонился и побаивался всякой чертовщины и непонятностей.

— Ихним стражем. Охранительницей великих врат Беловодья. Немного, говорят, живет этих Стражей среди людей, но силы им неимоверные даны и смерти они не имут. Есть одна стара побасенка, как устренить Стража, надобно на колени припасть и, достав из пазухи голыш-камень, взять его в леву руку и кинуть в того стража со словами: «От сердца мого, тепло тела мого, крепость духа мого, тебе в помочь!» Ежели мимо пролетит каменюка али угодит в того, знать, не он. Мот, туман горный чего накуролесил, мот, Денница охмурил, али просто путник какой навстретился. А как перестренет он твой камень левой же рукой, стиснет, да так, что пыль полетит по ветру, знать, истиный Страж пред тобой и дар твой, и помощь твою восприял. Ну, прощевай, что ли? Свидимся али не свидимся, никому не ведомо, а кровинку родную рада была узреть; на вота, милок, держи!

И она сунула в руку Макуты увесистый, обкатанный водой голыш. Не то атаман и впрямь растерялся, не то просто не стал перебивать родственницу, но, будь у его куреня побольше свету, посторонние бы увидели у сурового атамана по-детски растерянное лицо и глаза, блестевшие нечаянной слезой. Прошамкала бабка и канула в ночь, как и не было ее. Только шелест старухиных слов, легкий

и неприметный, как она сама, еще, казалось, стоял в неподвижном ночном воздухе.

— Бей! — вернул его к реальности негромкий голос Митрича.

— Чего там? — пряча за пазуху старухин камень, отозвался Макута.

— Сар-мэн возвернулся, с недобитком и еще одним, который при бонбах состоять должон. — И словно предваряя атаманов вопрос, добавил: — Ему объяснили, что мы полные дурни и думаем, будто ен и начальник евонный — добровольные к нам перебежчики, так что при случае ты его подбодри.

— А бонбы-то иде?

— Так у нас ужо, в крайней пещерке припрятали, под надежной охраной. И ищо, из крепости гонец прискакал, сказывает, завтра пополудню войско подастся в наши края. В цитадели останется только инвалидна команда да отряд конных ханьцев. Их все опричники на кого-то науськивают.

— Так это добре, что сатанинская-то машина у нас, — пропустив мимо ушей последние слова, промолвил атаман. — А как думаешь, не рванет она сама по себе?

— Не рванет, бей, не рванет, — отозвалась темнота голосом Сар-мэна. — Я этого грамотея-висельника всю дорогу пытал. Божится, что без двух ключей ничего с этими устройствами не случится. Ты бы видел эти бомбы — два плоских вещмешка, ровно детские ранцы, с какими я в школу ходил, увеситые правда.

— Ладно, ты потиху людей уводи, которых сымаешь, и, слышь, чтобы ни один в лагерь ни ногой...

— Да нешто я не понимаю, бей... Как там молодая Званская?

— Уже знаешь? Плохая была, когда дохтур всех из будана моего попер. Но, говорит, голова целая. И какому выродку дитя наивное помешало?..

— А вы это... Еноха ейного отыскали? — спросил Сар-мэн, подходя к атаману почти вплотную, и тому показалось, что в голосе подручного звякнули какие-то недобрые нотки.

— Не, шарят еще там, у ручья, да, боюсь, без толку, мот, тело водой отнесло...

Со стороны входа, у которого продолжали толпиться люди, в основном бабы, послышались радостные возгласы.

— Чего там нового приключилось, Митрич? — шуманул Макута.

— Да все хорошо, атаман, — доложил ординарец. — Ожила барынька, пить запросила. Дохтур с Гопсихой над ейной рукой колдуют.

— Ты поди-ка, передай айболиту, пущай он у ней выведает, кто их мордовал и где ейный друг сердешный. Мот, путевое скажет.

Машу уже не единожды про это спрашивали, но голоса и сами люди, задававшие вопросы, были где-то далеко, и слова их походили на дальний звук не то трубы, не то локомотивного гудка. Девушка скорее ощущала своим беспомощным телом, чем понимала

разумом, что с ней что-то произошло, страшное и необъяснимое. Любая попытка напрячься и что-то вспомнить заканчивалась резкой болью в затылке, и смутные картины реальности с нечеткими бухающими звуками проваливались в звенящую темноту. В очередной раз вынырнув из небытия, она попыталась попросить воды, и ее услышали! Ее поняли, и холодная, сладкая, как мед, влага подействовала и оживляюще, и успокаивающе, наконец начал действовать наркоз, но она не провалилась в беспамятство, а безмятежно заснула крепким сном. Спала и не чувствовала, как подшивают кожу на голове, как в деревянной от сильнейшей анастезии руке орудует доктор, как Эрми, удивляя всех, составляет ее раздробленные косточки, и они, словно смазанные невидимым клеем, стягиваются и принимают свой первозданный вид. Маше грезилась мать, будто они о чем-то все говорят, говорят и никак не могут наговориться. Потом приснился Енох, виноватый, обиженный, убегающий, а за ним, за ее любимым, бросилась вдогонку Эрми, настигла, и они исчезли за гребнем поросшего высокой травой пригорка. Ревность и обида душили ее. Плюнув на приличия, Маша осторожно, извиваясь, словно змея, поползла к пригорку. Трава прятала ее, и вот она уже у самого края, а рядом раздается утробное рычание, надо только протянуть руку и раздвинуть сухие стебли. Маша хочет это сделать, но боится, а рычание Эрми становится все громче и отчетливее. Мысли путаются, Маша не хочет верить в предательство самых близких людей и собирается незаметно уползти назад, но в последний момент неведомая сила застав-

ляет ее, приникнув к траве, глянуть вниз, и она каменеет от ужаса. Эрми в облике не то человека, не то тигроподобного зверя рвет острыми клыками растерзанное тело Еноха; вся перемазанная кровью, она, кажется, ничего кругом не замечает. Вдруг их взгляды встречаются, Эрми улыбается приветливо и, запустив руку в изуродованную грудину, вынимает еще трепещущее сердце.

— Смотри, подруга, что колотилось в его груди! — С этими словами она швыряет окровавленную плоть на землю. Не успев коснуться начавшей жухнуть травы, сердце любимого на лету чернеет и обращается в дикий, поросший серым лишаем камень. Маша вскрикивает и перелетает в какой-то другой сон, который вскорости сменяется еще одним, потом еще, еще и так до незапоминающейся бесконечности.

31.

Августейший Демократ играл в морской бой. Так уж исстари повелось, что сия высокоинтеллектуальная забава являлась неотъемлемой частью времяпрепровождения августейших особ. А собственно, чего ему было не играть, когда в газовой трубе полный порядок, в державе и мозгах граждан полнейший застой и всенародное процветание. У нас ведь всегда так — как застой, так народу одухотворение и блаженная радость, а все оттого, что подневольный люд начальство не тревожит и революции творить не понуждает. Как ни назови державу — что Ордой, что Московией, что Российской империей, что Союзом

всех замурзанных народов, что Сибруссией, — не может она без всеобщей смуты и революционных закидонов. А уж как бунт загудит красными вихрами под крышами ни в чем не повинных домов, тут уж держись, резать начинают друг дружку соотечественники, только хруст костей над миром стоит, — вот почему всякая властная апатия воспринимается народными массами как самое что ни на есть блаженство и расцвет. Да одно жаль — недолги эти отдушины, годов от силы пятнадцать — и все, опять круговерть и кровавые потеки на обледенелых мостовых. Так что нынешнее время раем подданным казалось — ничего, что впроголодь, ничего, что убого, зато без революционного энтузиазма и войны.

Играл себе Преемник сам с собой и радовался своим корабельным победам, а все в данном ему Богом уделе шло неспешным чередом.

«Д-4». Попал! Попал! Или это не «д», а «в», вот свиньи лысые, сколько им говорить, чтобы буковки наносили печатными литерами, а не прописными. В прописях я сызмальства путаюсь, то вниз закорючка, то вверх — поди, в пылу боя разбери. Надо будет наказать начальника Генерального штаба за головотяпство. Если они мне не могут соответствующим образом боевые карты выправить, представляю, что они для армии клепают. Надобно, надобно наипримернейше наказать!»

— Ваше Августейшество! Срочная телеграмма от графа Костоломского! — отрывая от великих дел, пропитым голосом доложил начальник дворцовой стражи Власий Алекс Бен Егуда-орк и бесцеремонно сунул Правителю в руки картонку.

Надо отметить, что Бен Егуда был самым отвязным царедворцем, без мерного стакана рабочий день не начинал. При должности он состоял уже без малого полвека. Кто его на нее приладил, давно уж стерлось из памяти самых отъявленных старожилов Кремля. Раз десять, а может, больше выгоняли его за казнокрадство и беспробудное пьянство на рабочем месте, но месяца через два возвращали обратно, так как без него хоть пить и меньше начинали, зато тащили из демчертогов воистину все, что попадалось под руку, от туалетной бумаги до мебели и гуманитарной помощи. Однажды даже вседержавные телефоны в августейшем кабинете срезали. Такие бывали загогулины.

— Ты это... сам прочти, голубчик, — отводя руку с картонкой, произнес всенародный монарх и принял подобающую своему положению позу задумчивого отца нации.

— Задание почти выполнено, о результатах доложу лично. Холоп Августейшего Демократа, подпись, — торжественно прочел Егуда.

— И все?

— Все! А чего расписывать, рванет Шамбалу, и концы в воду...

— Тише, тише ты! — зашипел правитель, вскакивая с места. — Что еще за «рванет»?! Глуп ты, братец! Сбережет для любезного мирового сообщества, можно сказать, его колыбель. Да, ко-лы-бель! А ты, любезный, не замечал, что, если в слове «колыбель» убрать «лы», получится непристойное слово.

— «Блядь», что ли?

— Да, умом ты, братец, не блещешь! При чем тут гулящие девки? Ты головой, головой подумай!

— Да куда уж нам при вас-то! А эти лахудры, так они все поголовно еще с колыбели, вы и сами знаете! Вы уж скажите, какое слово получается, а то мне вовек не додуматься.

— Кобель, кобель! Вот какое слово выходит! — запрыгал от радости Преемник, довольный своей смекалкой юриста. — Спасибо тебе, спасибо, ты, пожалуй, иди себе с Богом, а я пока страной поуправляю, сам видишь, дел невпроворот, — и он кивнул на толстенную кипу заготовок морского боя, на которых красовалась генштабовская шапка и красный штамп «Совершенно секретно».

Дождавшись, когда охранник выйдет из кабинета, высшее должностное лицо выскользнуло из-за стола и засеменило к кабинке из матового пластика, в которой стоял секретный телефон секретной связи с «Великолепной семеркой мира». Плотно притворив дверь, властитель вытер о штаны вспотевшие ладони и поднял трубку. На том конце отозвался Билди-Болдинг Абу Дзен-младший.

«Так значит, сегодня пятница, — подумал про себя Преемник. — Болдинг Абу как раз и дежурит по пятницам в Большом доме всемирной демократии».

— Здравствуте, Ваша Всемирность! Дело движется к завершению, до момета всеобщего избавления осталось не более двадцати часов.

— Хорошо, наш маленький друг. Истинные ревнители свободы и традиций будут вам весьма благодарны. Я, признаться, восхищен оперативностью вашего решения. Вы правы, трижды пра-

вы, никому не нужна эта головная боль со многими неизвестными. Нам только учителей из-под земли не хватало!

— Извините, а как же особое мнение Али-Фиат де ля Спагетти? Говорят, он намерен обратиться в международный трибунал к Понтам Всесветным. Мне что-то боязно, оформить бы мою частную инициативу как коллективное решение Семерки.

— Не бойтесь, наш маленький друг! Мы всегда с вами и в обиду вас никому не дадим, в случае чего мы Спагетти выведем из состава постоянных семерочников, а вас введем. И делов-то! Да вы и сами не робейте, перекройте ему газик, посмотрим, сколько он на своих макаронах проедет, мафиози чертов! Храни нас Всевидящее око.

Трубка замолчала, и в ней стал отчетливо слышен шорох и потрескивание какой-то старинной звукозаписывающей аппаратуры.

Пулей выскочив из кабинки, Преемник принялся отдавать команды:

— Экстренно увеличить количество голубого золота во всенародном хранилище! Отвечают все! Народглавпрому приступить к постепенному снижению давления в поточной трубе «туда — газ, обратно — что дадут» для лекторальной зоны «Гламурный абрек»! Начать переговоры с хохлобульбами о доппоставках. Отвечают все, ответственные — приходящие работники! Все!

Подобными встрясками Августейший страну озадачивал редко, поэтому очень скоро, весьма довольный собой, он вернулся к прерванной морской баталии.

32.

Горная ночь, непроглядная и плотная, словно черная вата, нехотя шла на убыль. Почти невидимое небо с мелкими слезящимися звездами постепенно серело, а ранние облака и вовсе превратили его бездонный бархат в вылинявшее от дождей и солнца полотно. Из мрака постепенно проявлялись причудливые силуэты гор, камней и деревьев, легкий туман, плавающий в почти неподвижном предрассветном воздухе, создавал полную иллюзию движения, отчего непривычному к горам человеку неживой мир казался живым и будто населенным исполинами, вылезшими из берлог на короткую утреннюю охоту.

Енох, сильно прихрамывая, ковылял по едва различимой тропе, петлявшей вдоль невидимого в темноте ручья. Тропка полого уходила вниз, и шум воды усиливался, заглушая звук его шагов, редкие отрывистые крики невидимых птиц, ночные шорохи. Казалось, тревожная музыка бьющейся о камни воды поглощала весь мир.

«Это ее кровь, обгоняя меня, бьется о дикие серые валуны! Не хватало мне только мистики. Ты лучше шевели ногами, а то не ровен час, с какой-нибудь зверюгой или, того хуже, с бандитами Макуты столкнешься. Интересно, нашли они эту дуру? Нет, она определенно была ведьмой. Вот и охмурила меня. Прохор еще в день моего приезда предупреждал, все здешние бабы и девки — ведьмы, о чем и сами зачастую не знают. Осиное гнездо, прав Воробейчиков, напалмом его надо. А ведь

в Москве считают, что подчистую извели языческую заразу, когда по вседобрейшему решению Государственного межконфессионного собора последних мракобесов живьем сожгли в 2045 году в известковых карьерах недалеко от Рязани. И вот на тебе, уж середина двадцать первого века, а здесь как в Средневековье».

Тропа начала круто уходить в гору, и шум воды постепенно стал стихать, отпуская на свободу плененные было звуки ночи.

«Все, что так хорошо было мной задумано, полетело псу под хвост!» — впиваясь слухом в тревожную предрассветную тишину, Енох принялся в который раз перебирать недавние события. Нет, он не пытался их анализировать, не терзался произошедшим, даже угрызений совести не испытывал — в этом плане все случившееся было для него вполне ясным и обоснованным. Как назойливые мухи, в голову лезли совсем иные мысли: почему, почему она не согласилась с его планом, почему предпочла остаться с этими отбросами общества и проигнорировала его искренние чувства? Почему его поставили ниже каких-то уродов, не имеющих ни кола, ни двора? Ответить на эти вопросы он, как ни старался, не мог.

В мире нет ничего более противного, чем оставшиеся без ответа вопросы. Они как мины замедленного действия продолжают жить в человеке страшной разрушающей жизнью, лишая душевного покоя и дожидаясь своего часа, чтобы в самый неподходящий момент разнести в клочья весь этот так и не понятый мир.

Енох хоть этого и не знал наверняка, но догадывался, и внутри него закипала горячая злоба. Он сам ее пугался, делал вдох, чтобы успокоиться, спешил переключиться на другие темы. Но через какое-то время все возвращалось на круги своя.

«Сначала заартачилась Машка.... — нет, это не он вызвал к жизни только что мелькнувшие слова, это они сами, не спросясь, полезли в голову. — Потом дебильного коня какая-то лесная тварь испугала. Хорошо хоть на поляне из седла вылетел, а не на этой козьей тропе, а то бы уже догонял свою любу в небесах. Да что же ты на этом дурацком слове, словно на хромой кобыле скачешь: любил, не любил? Детский вопрос, словно считалка: «У попа была собака, он ее любил...» Тьфу, черт! Любил — не любил, чего теперь гадать! Сильной занозой застряла в душе ее девственность. Смешно сказать, при всей моей бурной жизни, она оказалась первой, кого я сделал женщиной. Может, из-за этого и бзик, может, потому я и перегнул палку? Что на меня тогда нашло? Это же надо — камнем по голове... Ладно, успокойся, надо о другом, о дороге и о своем спасении думать, а не сантименты разводить. Бред! На халяву графом захотел стать! Стареть, наверное, начал, от этого и развожу канитель... Хотя что удивляться, я впервые убил человека. Просто так, взял и... камнем по голове... а перед тем ласкал эту голову, целовал пахнущие кашей губы, а потом... А чего ты, собственно, хочешь? Тебе под сорок, девке восемнадцать, и она, как сладкая, согретая родительским солнцем ягода, готова ко всему на свете... Что бы делал любой мужик, окажись на

твоем месте? Рвать надо вызревшую клубничку, пока другие не полакомились. Не только меня к ней тянуло, но и она летела навстречу всему этому. Нет, мы любили друг друга, ведь если такой порыв — не любовь, тогда что же такое эта любовь? Конечно, может, и не надо было ее... но что случилось, то случилось. Прав был дед: излишняя образованность ведет к расслаблению воли. И трижды прав Августейший, упразднивший чтение и все эти экзамены по литературе, от них только душевная гниль и сумятица. Вся нация, все сословия приведены к великому единству, все до единого — холопы Августейшего Демократа, все, включая родителей и детей самого Преемника. Холопу претит быть интеллигентом, а ты сопли распускаешь. Не любовь ты убил, а прекратил деятельность потенциального врага, какой бы переполох она подняла среди бандитов! А те, чего доброго, бросились бы противиться исполнению воли Москвы. И Августейшему доложили бы, что в этом преступном акте непосредственное участие принял ты, его сатрап! Это конец всему твоему роду! Долг, свой долг, ты, верный холоп Августейшего, исполнил... И чему она, упрямая ослица, могла бы научить твоих детей?»

Енох впервые в жизни почти ненавидел себя, и только спасительный круг мыслей о служении Державе удерживал его на поверхности.

«Ты еще заплачь, вернись и покайся, поджарься вместе со всеми на ядерной сковородке! И этот по-

ступок твоими колегами и начальниками непременно будет расценен как предательство, а самоспасение и содействие исполнению воли Преемника будут расценены как подвиг».

Придя к такому удивившему его самого выводу, Енох вздохнул с облегчением. Ему даже показалось, что ушибленное колено меньше болит, идти стало легче, а главное, назойливый шум воды остался где-то далеко внизу, позволяя лучше слышать и, в случае опасности, успеть выхватить из-за пояса нож или сигануть в кусты.

Выполнение долга перед державой и ее властелином — та удобная ширма, то есть тот святой предлог, которым можно прикрыть любое преступление и любую подлость. Подлунный же мир, не человеком созданный, про эту ширму не знал и жил своей, одному Богу ведомой жизнью, а в ней за всякое дело, плохое или хорошее, неизбежно полагалось воздаяние...

Огромный, с седым загривком медведь, словно гиганский осколок ожившей скалы, уже с полчаса крался за ничего не подозревавшим человеком. Надо сказать, что в мире нет более коварного зверя, чем чулымский мишка. На какие только пакости он не идет в своем вечном противостоянии с людьми, бесцеремонно нарушающими устои его привычного мира. И что бы ни придумывал венец творения для утверждения своего господства в тайге, хозяин этой самой тайги все равно оказывается хитрее. В своей ненависти к человеку с медведем

могла состязаться разве что его недалекая родственница — россомаха.

За Енохом Миновичем крался не обычный горный мишка, вышедший поутру половить рыбу в ручье, за ним, набычившись и широко раздувая ноздри, тяжело ступал медведь-людоед, давно уже знающий сладковатый вкус человечьего мяса. В предвкушении лакомства из его беззвучно щерящейся пасти текла слюна, но зверь почему-то медлил, может, тешил свою охотничью удачу, а может, желал полюбопытствовать, зачем этот лакомый кусок направляется прямиком в его берлогу, глубокую пещеру, уютную и сухую; именно к ней вела едва заметная тропа, на которую непонятно почему свернул человек с петляющей у ручья наторенной дорожки.

Почти рассвело. Вдруг Еноха насторожил неприятный запах. Эта липкая вонь словно плыла в утренней небесной чистоте. Когда-то давно он чувствовал что-то подобное на одном из дедовых заводов по изготовлению костной муки. Енох остановился, только сейчас заметив, что дорожка, по которой шел, давно кончилась и обратилась в едва приметную тропку. Он обернулся и... остолбенел. В полуметре от него, скалясь зловонной желтозубой пастью, стоял огромный лохматый зверь.

«Наверное, это от него...»

Это была последня осознанная мысль, которая пришла ему в голову.

Со страшным ревом медведь поднялся на задние лапы и всей тяжестью своего полутонного тела

обрушился на жертву. Енох был еще жив, и ему было нестерпимо больно, свернутая шея еще как-то связывала голову с обращенным в сплошную боль телом. А зверь с утробным урчанием разворотил человеку живот и лакомился теплыми кишками.

33.

Маша приходила в себя трудно. Не выдержав напряжения и свалившейся на нее ответственности, Дашка спровадила Юньку к барыне и теперь со страхом дожидалась ее приезда. Сидела она возле молодой барыньки неотлучно и корила себя, как могла.

В углу Макутиного будана, переоборудованного под больничную палату, на простой колоде дремала с открытыми глазами Эрмитадора. Время от времени она, словно большая птица, с протяжным вздохом подхватывалась с места, подходила к больной и подолгу водила руками над ее забинтованными головой и рукой. Со стороны казалось, она просто гладит подругу, но Даша, уступая Гопс свое место, видела: та напрягалась с такой силой, что жилы на руках наливались кровью, а на шее и лбу крупной росой выступал пот. Гопсиха что-то шептала, но слова были какие-то непонятные, нездешние. Единственное слово, какое Дашке удалось разобрать, было «тара», но что это значило, она не знала, а спросить онелюдимевшую девку боялась.

— Эрми, можно тебя на минуточку, — нарушил больничную тишину Сар-мэн. — Выйди, атаман кличет.

Гопс, будто не слыша, продолжала свое странное тайнодействие. Пальцы уже не были сложены в лодочки-ладони и не скользили плавно над покалеченными местами, а плясали и извивались, словно десяток встревоженных змей. Они кружили, переплетались друг с другом, то удаляясь от больной, то резко приближаясь к ней, а то соединялись в щепотки, словно во что-то крепко вцепляясь и с силой это «что-то» выдирая прочь.

— Эрми! — громче позвал разбойник, не видя, чем занимается подружка.

— Она вас слышит, слышит, вы погодите маленько, сейчас закончит и выйдет! — ответила за нее Даша и сама испугалась, вдруг атаману не понравится ее своеволие. Да и не она это сказала, а будто ей кто-то велел так сделать.

Сар-мэн что-то буркнул себе под нос и вышел. Вскорости, перестав вертеть пальцами, вышла вон и Гопсиха.

Не успела Эрмитадора сделать и пару шагов навстречу Макуте, как тот, припав на правое колено, достал из-за пазухи старухин камень и со словами, что велела старуха, кинул его левой рукой в сторону девушки. Гопс не глядя, слегка отведя в сторону руку, поймала камень, сдавила легонько, и мелкая пыль брызнула меж пальцев, словно это был не базальтовый голыш, а шарик из тонкого теста с мукой в середине.

— Я Тара — страж Входа, принимаю твою помощь, от тепла и сердца твоего идущую. Говори, тебя слушают.

Не разбитная, разгульная девица стояла перед опешившими разбойниками, а некое доселе неве-

домое воплощение тайной, великой и неотвратимой силы.

Макута поднялся с колен и, сделав знак Митричу, принял из его рук два небольших защитного цвета ранца с широкими удобными лямками.

— Вот энти бонбы атомные. Недобрые люди желат через тебя доставить их в пещору и взорвать, чтобы погубить то, что там есть. — Тара слушала, не перебивая, Макуте даже показалось, что она его не слышит и не понимает. — Надобно, чтобы ты нам помогла, мы без тебя никак их не перехитрим. Чуть погодя тебе дадут рацию, и ты скажешь, мол, все, что должна была сотворить, сделала и скоро отсюда уйдешь. Ты понимаешь хоть, о чем я?

Тара молчала.

— Ох и тяжко с вами, ненашинскими! Да ладно, главное, чтобы подсобила. Скажешь в рацию и топай, куда тебе надо, а мы тут с робятами ядерную войну учудим. Таку фальшу из солярки, палма и толу рванем — чистая Хера-Сима будет. Шуму полно, а так — пустяшка. Да не молчи ты, а? Ты чуешь ли, что я тебе...

— Тебя услышали, делай свое дело, а я — свое.

Гопс подошла к атаману, молча взяла ранцы и не торопясь пошла по сереющему восходом откосу к ручью. Ее высокая ладная фигура четко вырисовывалась на фоне густеющего у воды тумана, а по росной траве тянулись темные бороздки ее следов. И вдруг, на глазах у всех стоящих и глядящих ей вслед... она исчезла из поля зрения. Просто, не дойдя до тумана, растворилась... и все.

Митрич истово перекрестился. Макута покачал головой и, глянув на окаменевшего Сар-мэна, сочувственно похлопал его по плечу.

— Да-а, брат, что ж тут поделаешь, не подвезло тебе с бабой... Ладно, пошли мазутом заниматься. Где там твои чудо-орлики, что из говна атомную бонбу сварганить могут?

Маша с трудом приходила в себя. Она лежала молча, не шевелясь, ей страшно было разжать тяжелые непослушные веки. Голова гудела, она старалась вспомнить, что произошло ночью, но кроме ярких картинок природы, которые неосознанно фиксировали ее глаза в последние дни, в отяжелевшую голову ничего не приходило. «Не насытится глаз зрением», — почему-то вспомнилась фраза из запрещенной недавно Библии.

Где-то за плотно зашторенными веками шмыгала носом добрая и наивная Дашка, а еще дальше жил большой и сложный мир, и она его больше не боялась. Добрый и прекрасный мир, в который она возвращается из далеких странствий, возвращается, чтобы жить, надеяться, смеяться, мечтать и любить. Хотя, как и всякий живущий, она не знала, что с ней будет дальше, добрая и вечная сила наполняла ее юное тело, ибо молодым известна только жизнь и пока еще неведомо дыхание смерти.

Литературно-художественное издание

Валерий Казаков

ХОЛОПЫ

Роман-дурь

Зав. редакцией *О. Ярикова*
Ответственный редактор *М. Малороссиянова*
Технический редактор *Т. Тимошина*
Корректор *И. Мокина*
Компьютерная верстка *Е. Бондаревой*

ООО «Издательство АСТ»
141100, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а